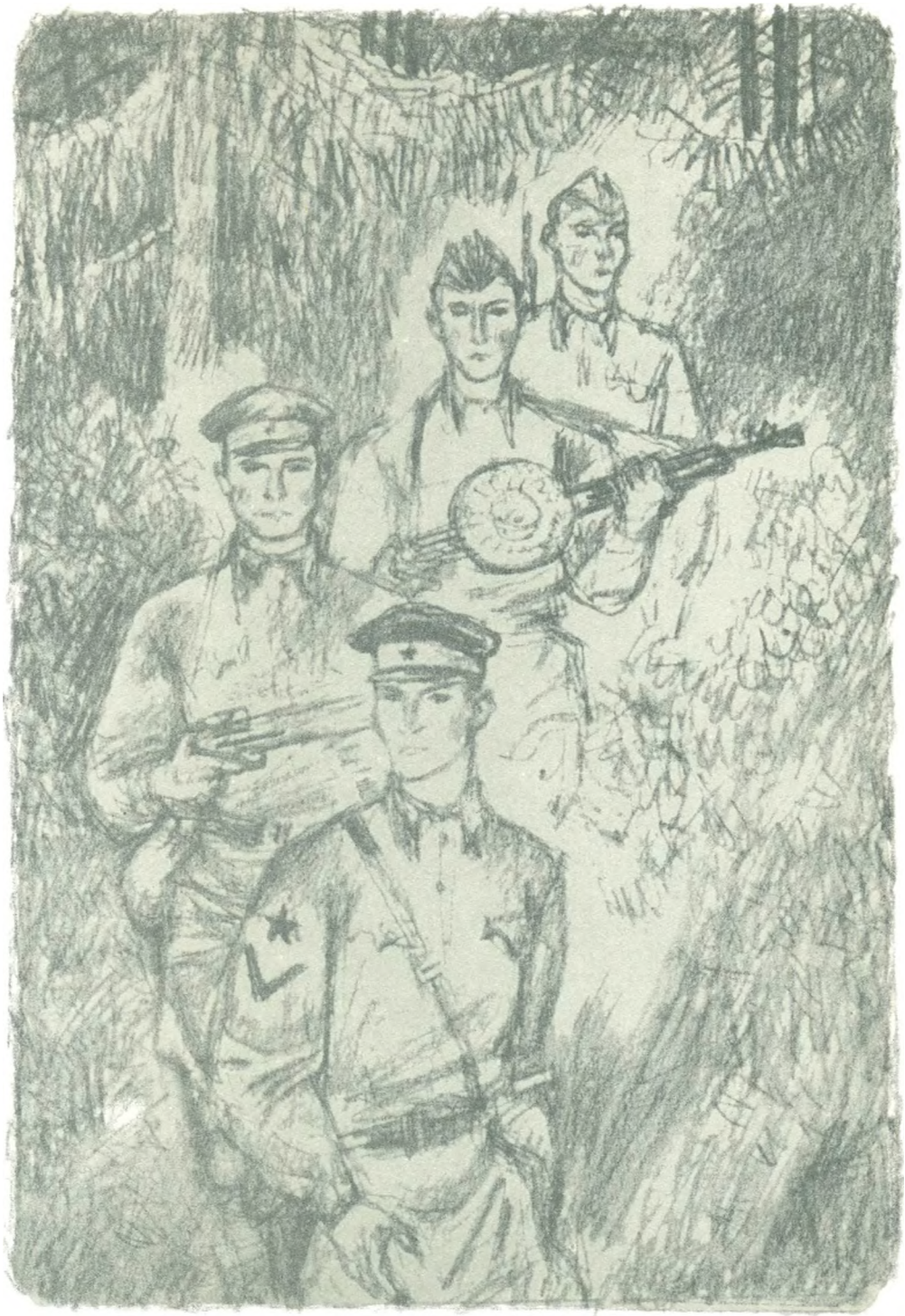
Владимир Дягилев

В ГРУДЬ НАВЫЛЕТ

Владимир Дягилев

В ГРУДЬ НАВЫЛЕТ



Владимир Дягилев

В ГРУДЬ НАВЫЛЕТ

ПОВЕСТЬ

Ленинград
«Детская литература»
1983

Р 2
Д 99

Рисунки Н. Ломакина

Дягилев В. Я.

Д 99 В грудь навылет: Повесть/Рис. Н. Ломакина.— Л.: Дет. лит., 1983. — 112 с., ил.

В пер.: 50 коп.

Рассказ о комсомольце, спасшем знамя воинской части во время Великой Отечественной войны.

Р 2

Д $\frac{4803010102-128}{М101(03)-83}$ 266—83

© ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1983 г.

Не все умрет, не все войдет в каталог,
Но только пусть под именем моим
Потомок различит в архивном хламе
Кусок горячей, верной нам земли,
Где мы прошли с обугленными ртами
И мужество, как знамя, пронесли...

Николай Майоров

МНИМОЕ РАНЕНИЕ

Жарков открыл глаза, и перед ним тотчас вспыхнул бенгальский огонь. Желтые и зеленые искры роились вокруг золотистого центра. Он будто слышал их шипящее, отчетливое потрескивание. В памяти тут же возникла картина выпускного школьного вечера. В физкультурном зале, где они танцевали, вдруг погас свет и в тот же миг зажглись десятки бенгальских огней.

«Но теперь-то... Сейчас...»— удивился Жарков и хотел приподняться, но почувствовал такую резкую боль в левой ноге, что застонал и потерял сознание.

Прошло какое-то время. Он вновь открыл глаза, и опять перед ним вспыхнул бенгальский огонь.

«Звездочка,— догадался Жарков,— но почему она дрожит и искрится?»

Воспоминания снова вернули его к тем счастливым минутам мирной жизни.

Вспыхнули огни, и раздались крики и аплодисменты.

«Ты поедешь в Испанию?» — спросила Линка Часова.

«А пустят?»

«Главное желание. Мы до Наркома дойдем».

Мысли и воспоминания мешались у него в голове, возникали и исчезали. Новая картинка. Они всем выпускным классом, в праздничных костюмах и платьях идут в военкомат...

Он снова дернулся, ощутил боль и провалился в черноту.

Когда в следующий раз он открыл глаза, бенгальский огонь уже не вспыхивал перед ним, звезда не била в упор, она отошла в сторону и казалась обыкновенной звездой.

Стояла ночь. Ни одного звука, словно никого живого, кроме него, Жаркова. Только звездное небо. Только темнота. Ни пичужки, ни зверька.

«А рядом должен быть лес... Мы вышли из леса...»

Он опять потерял нить мысли, застонал и забылся.

К нему приходили видения: мама, Линка. Она подносила ему кружку ко рту, но воды в ней не было, а он так хотел пить.

Жарков и очнулся от ощущения, будто у него во рту не язык, а ершик,— он мешает глотать, мешает дышать...

Предутренняя прохлада взбодрила. Жарков почувствовал себя лучше и начал понимать, где он и что с ним произошло. Это было еще отрывочное сознание, клочки полотна, которое надобно было еще соединить, как бы склеить в памяти, чтобы представить целую картину.

...Они вышли из леса. Впереди политрук и старшина Дробот... Он, Жарков, ранен. Лежит среди поля...

Но они совсем не думали напороться на немцев. Думали, там болото, а немцев нет...

Он ранен, а они вышли из леса...

Когда хлестнул пулемет, Жарков со своим «Дегтяревым» хотел шлепнуться на землю, чтобы ответить...

Но как же там очутились немцы? Старшина и красноармеец Кузькин ходили в разведку — там болото...

Они вышли из леса...

Политрук упал, старшина охнул, а Кузькин в лес..

А немцев не было на болоте...

Упал политрук без звука, старшина охнул и повалился на бок. А Кузькин?.. Но немцев не было на болоте...

Он ранен, а они вышли из леса... А Кузькин? Может быть, он ушел за помощью? Но наши ушли... Рассредоточились... Нам приказали разбиться по группам...

Я ранен, а нам особое задание...

А немцев не было — это точно... Старшина не мог ошибиться...

Наконец это многократное повторение воспоминаний о немцах заставило Жаркова сосредоточиться и собраться.

«А вдруг они еще появятся?»

Первая мысль: «Укрыться, чтобы не обнаружили... Рассветает, меня увидят...».

Действительно, небо светлело с одной стороны и светлота эта расплывалась все шире.

«Да, да, укрыться»,— про себя повторил Жарков.

Это был как приказ к действию, но он не знал, с чего начинать, как действовать, куда двигаться. Всю жизнь Жарков выполнял чьи-то указания или приказы: дома — родителей и старшего брата, в школе — учителей, в армии — командиров. Сейчас он был один и нужно было принимать решение.

Звезды меркли. Наступал рассвет. Прежде всего Жарков осторожно обследовал свое тело. Все в порядке, все цело, за исключением левой ноги. Пальцы на ней шевелились, но дальше она словно занемела и одновременно болела, и каждое неловкое движение отдавалось в сердце.

«Тогда отчего я так ослабел? — удивился Жарков и сам же ответил после раздумья:— Видно потерял много крови».

Он медленно, на руках, даже не поднялся, а выжался, как на брусьях, и увидел свои ноги.

На них были грубые солдатские ботинки, давно не чищенные, со сбитыми носами, и обмотки, плотно облегающие голени. (Мелькнуло воспоминание: он долго не мог научиться заматывать обмотки и старшина Дробот выговаривал ему за это. Однажды перед строем напоказ

выставил.) А дальше, выше голени, ноги резко отличались одна от другой. Правая была ровной, целой, а левая, выше колена, отечна, вся в запекшейся крови.

«Столько крови потерял, а ее почему-то раздуло? — снова удивился Жарков.— Наверное, осколок. Наверное, кость задета».

Жарков осторожно отвалился на спину, передохнул и стал соображать, что же делать дальше. Первое дело: завязать и закрепить ногу. Еще в школе они сдавали на значок ГСО, и он знал, как накладывать повязки и шины, да и за месяцы войны ему приходилось делать это.

Жарков ощупал карманы. Бинта или индивидуального пакета не было. На ремне нож и слева граната-лимонка.

«Пригодится»,— по-хозяйски решил он и прикрепил гранату получше.

Теперь необходимо было найти что-то такое, что могло бы заменить шину.

Когда он приподнялся, чтобы рассмотреть ногу, то боковым зрением уловил: впереди нет леса, только кустики и за ними — болото.

«Значит, лес за мной. Мы вышли из леса... Надо ползти назад»,— рассудил Жарков.

Он вздохнул поглубже и попробовал ползти на спине. Но едва пошевелился, вновь вспыхнула боль в левой ноге. Нога, словно стальной магнитный брусок, пристала к земле. Жарков изловчился и подсунул под нее здоровую ногу. Боль уменьшилась, но двигаться стало труднее.

Он ощутил испарину и вынужден был остановиться, расслабиться для отдыха.

«А по-пластунски я мог хоть километр проползти».

Небо над ним покрылось легким багрянцем, и это подтолкнуло Жаркова. Он опять пополз на одних руках и снова, через каких-нибудь метр-полтора, затих, обессилев.

Потом на пути показалась травянистая кочка. Он наткнулся на нее плечом, как на столб, и охнул от боли в ноге.

Полежав минуту, Жарков сообразил: прежде чем двигаться, вытягивал за голову руки, ощупывал землю и лишь после этого продолжал ползти. Похоже было, что он плывет по земле, как плавал по речушке своего детства Змейке. Сравнение, пришедшее неожиданно, усиливалось и пугало его. Кажется, и в самом деле земля, как река, только без конца и края. Он все плывет, все плывет и не знает, когда же будет берег, то есть долгожданный лес. Вроде бы они совсем немного пробежали, когда от болота ударил вражеский пулемет, а он все не может добраться до первых кустов, до первого дерева.

Несколько раз, прижимаясь затылком к земле, Жарков чувствовал прохладу и влажность. Ему пришла мысль: «Это ж роса... Мне бы воды...».

И он начал срывать руками траву и обсасывать ее, как конфету. Поначалу было приятно, потом появилась горечь во рту. Он попробовал слизывать капельки — горечь не проходила.

«Еще отравишься»,— подумал Жарков и заставил себя выплюнуть зеленую слюну.

Полежав немного, он снова «поплыл» к лесу, который, казалось, играл с ним, отступал все дальше и дальше.

Когда руки наткнулись на ствол дерева, он даже не мог обрадоваться. Так устал. Несколько минут лежал с закрытыми глазами, ощущая кончиками пальцев гладкость коры и еще не веря, что дополз до леса.

Когда он снова увидел небо, оно было совершенно светлым, золотистым, без единой звездочки и тучки.

«Тянуть нечего»,— приказал он себе и, держась за ствол, подтянулся к дереву и слегка приподнялся, как по канату, чтобы рассмотреть его и наметить дальнейший план действий.

Это была молодая березка. Он вполне мог обхватить ее у корня двумя ладонями. Ветвей было немного, и на одной он разглядел желтые листья.

«Вроде бы еще сентябрь не кончился»,— подумал Жарков.

Провел рукой по гладкой бересте и достал нож. Ему стоило больших трудов расположиться так, чтобы работать, не чувствуя резкой боли в ноге. Кое-как ему удалось найти такую позу, и он сделал первый надрез. Сталь легко вошла в дерево, и на лезвии появились влажные капельки. Жарков не удержался, слизнул капли шершавым языком.

Вкус березового сока тотчас снял горечь, оставшуюся от травы, и напомнил детство: отец водил его в березовую рощицу у озера и угощал березовым соком.

Жарков поглубже вонзил нож в дерево и замер в ожидании целительных капель. Но их становилось все меньше, а лезвие шло в дерево все труднее.

«Эх, весной бы,— вздохнул Жарков.— А я устал».

Он обхватил березу руками, прижался к ней щекой и, не обращая внимания на боль в ноге, начал высасывать из ствола сок. Соку было немного, но стало полегче, и Жарков вновь занялся своим делом.

Во время очередного перерыва он поднял голову. Вершина березки горела веселым золотистым светом. На мгновение Жаркову стало жаль деревца, которое он губит, но тотчас он подумал о себе, о своем положении и, ухватившись за ствол обеими руками, повис на нем, как на канате. Береза еще секунду сопротивлялась, а потом вместе с Жарковым повалилась на землю.

От резкого падения Жаркову сделалось так больно, что он вынужден был переждать, лежать неподвижно, чувствуя свинцовую тяжесть левой ноги.

Из березы он сделал несколько палок: две для ноги, третью, потолще,— для себя. Теперь предстояло наложить эти самодельные шины. Для закрепления палок было лишь одно подручное средство — обмотки. Жарков подогнул правую ногу, стараясь размотать обмотку, но она не поддавалась. С трудом он все-таки высвободил обмотку, скатал ее в тугой валик, и тут до него донесся звук отдаленного взрыва. Жарков инстинктивно замер, а затем начал двигаться быстрее, словно этот взрыв произошел в нем самом.

«Укрыться, укрыться...» — подгонял он себя.

Жарков подвязал палки к левому бедру, закрепил их прочно и попытался с помощью надежного дрючка принять вертикальное положение. Поначалу не удавалось, руки ослабли от длительного «плаванья» по земле, но он все-таки собрался, напрягся и встал на одну ногу, как журавль. Жаркова качнуло, и он отбросил руку, стараясь сохранить равновесие.

Теперь ему открылась перспектива. Лес стоял буквально в пяти шагах, метрах в ста впереди виднелись кустики, за ним — болото.

«Укрыться, укрыться»,—повторил Жарков и заскакал на одной ноге к деревьям. Стучало в висках, дрожало все тело, но он все же сумел добраться до первого большого, в целый обхват, дерева. Жарков обнял

его, как друга после долгой разлуки, вздохнул облегченно и тут же прицельным солдатским глазом начал искать более надежное убежище. В глубине леса, метрах в десяти от него, меж двух берез виднелся густой кустарник.

«В самый раз».

Не надеясь на свои силы, он поскакал не прямо, а в сторону, к другому дереву,— так выходило дальше, но надежнее. Он быстро приноровился и скакал мягко, чтоб не отдавало в больной ноге.

Все это путешествие отняло много сил, и потому, добравшись до кустарника, он повалился на правый бок и замер, уткнувшись в не нагревшуюся еще после свежей ночи землю.

Придя в себя, Жарков увидел перед самым носом — рукой подать — гнездо подберезовиков и обрадовался им, как весточке из дома. Он был голоден, слаб и все равно какое-то мгновение не решался сорвать это семейство. Но голод пересилил, и Жарков стал вырывать грибы и совать их в рот. Грибы, однако, не утолили голода, а еще больше возбудили аппетит. Жарков начал озираться по сторонам, но ничего подходящего больше не обнаружил. Тогда он раздвинул кустарник и на локтях протиснулся в его глубину. Там оказалось достаточно места и травы, он не спеша умял ее, улегся поудобнее, насколько это было возможно в его положении, и забылся.

Сколько он так пролежал, Жарков не знал. Что-то его потревожило, и он вздрогнул. Тотчас вспомнил, где он, что с ним, и потянулся к «лимонке». Но вокруг было по-прежнему тихо, ни голосов, ни звуков, только листва шумела осторожно, точно боялась помешать его отдыху.

Но непонятная тревога не проходила. И тут он вспомнил о товарищах и догадался о причине тревоги.

«Ну, надо же...»

Все утро он думал лишь о себе, о своей безопасности, и ни разу о тех, с кем выходил из окружения. А ведь их была группа, четыре человека. И они выполняли особое задание. Жарков своими ушами слышал слова командира полка, обращенные к политруку: «А вам особое задание». В чем оно состояло, Жарков не знал — командир полка и политрук скрылись в шалашике,— но слова эти слышал и запомнил...

«Как же это я?!»

Сделалось стыдно за себя, за свою забывчивость. В первое мгновение он хотел встать и пойти туда, где лежали политрук и старшина Дробот. Он хотел было вскочить, но нога еще сильнее прижала к земле, будто сцепилась с нею невидимым магнитом.

«И все равно,— решил Жарков,— все равно поглядеть надо».

Он начал прислушиваться, приложив ухо к земле. Но ничего не услышал. По-прежнему было тихо. Никаких звуков.

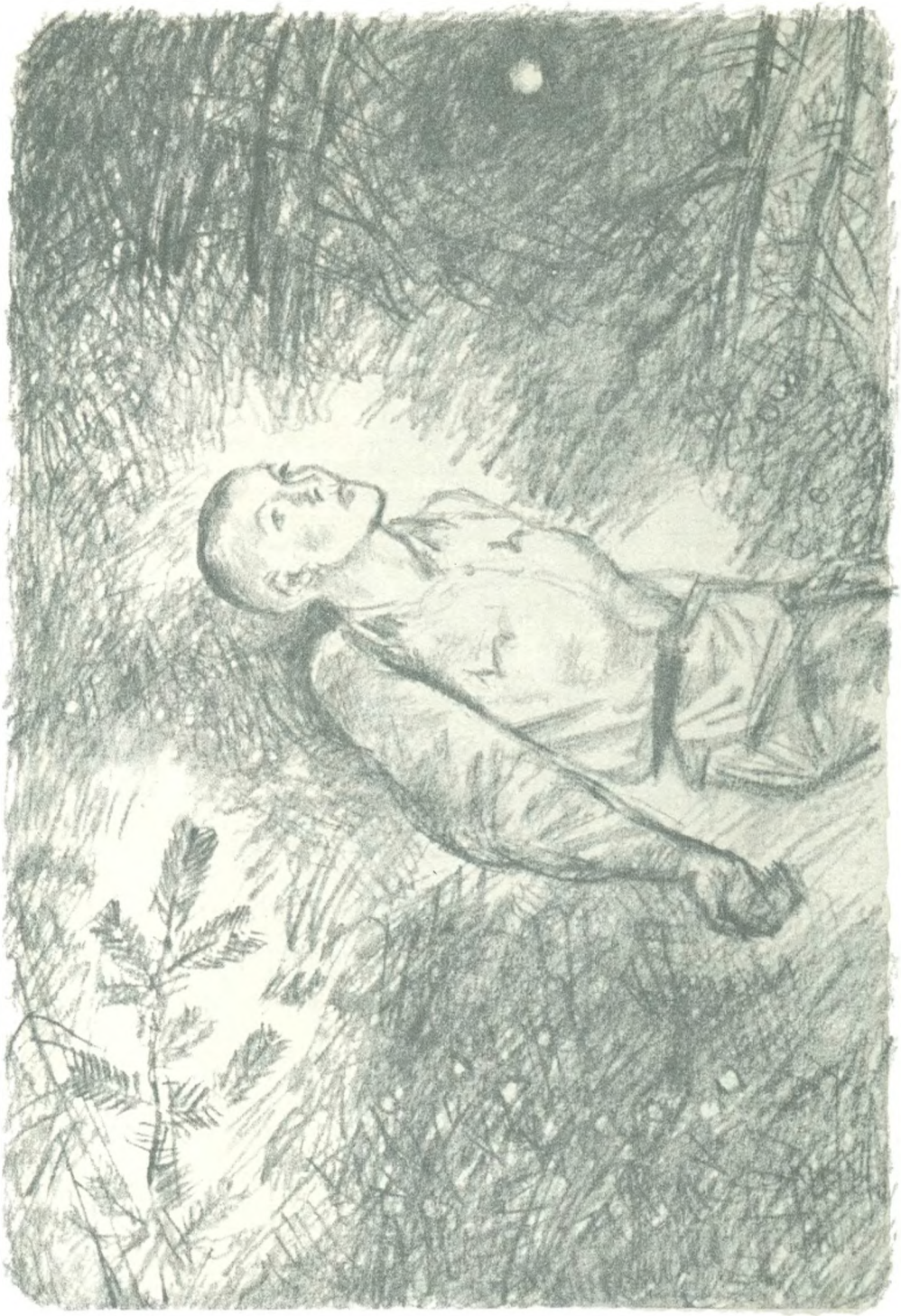
Жарков превозмог себя, вылез из укрытия.

«Ну, заяц,— невесело пошутил Жарков,— поскакали».

Опираясь на палку, он начал прыгать по дуге, от дерева к дереву, прежней дорогой.

Каждый раз, прислоняясь к стволу перед тем, как продолжить путь, он старательно вслушивался. Все было спокойно. Даже странным казалось, что еще вчера, то есть ровно сутки назад, здесь строчил пулемет, который преградил им дорогу к своим.

У последней березы Жарков долго стоял, прислушиваясь и озираясь вокруг. Отсюда он разглядел старшину Дробота, точнее, его сапоги. Они



торчали над травой, как две черные кочки. Их нельзя было не заметить — сорок пятого размера. Никто не носил большего, по крайней мере, у них в роте. Сам старшина был среднего роста, а ноги... Когда он накладывал взыскание (а взыскивал он справедливо), пострадавший ворчал втихаря: «Тоже, сам состоит из двух частей — глóтка и лапы».

Сейчас Жарков смотрел на эти «лапы», неподвижно торчащие из травы, и жгучие чувства тоски и жалости одолевали его. Он уже повидал за месяцы войны убитых, изуродованных. Но то было в других обстоятельствах. Теперь он сам ранен, а погибли не просто солдаты, но его товарищи и командиры, с которыми он не раз бил фашистов, через много боев прошел, да и сейчас... сейчас в тылу у противника. Хотя и спокойно вроде, и ничего подозрительного, но кто его знает. Вчера тоже вроде пустынно было...

С трудом Жарков оторвался от дерева и поскакал на сапоги Дробота. По дороге чуть было не запнулся о своего «дегтяря», задержался на секунду, раздумывая, взять ли пулемет с собой. Решил взять, но на обратном пути.

Дробот лежал на спине, так и не выпуская из рук немецкого трофейного автомата, добытого в бою уже здесь, в окружении.

Издали казалось, что он прилег, разморился под солнцем, задремал от усталости после трудной дороги. И если бы не синие пальцы, не один открытый глаз, будто бы целившийся во врага, — если бы не все это, его вполне можно было бы принять за спящего.

Жарков подумал, что надо бы взять документы Дробота, если они у него имеются, и похоронить бы старшину... Но вторая мысль показалась ему нереальной — силенок маловато, — а вот насчет документов...

Жарков осторожно опустился на бок перед телом старшины, больше всего опасаясь разбередить утихшую боль в ноге, и зажмурил глаза. С закрытыми глазами, казалось Жаркову, силы восстанавливались быстрее. А торопиться теперь некуда...

Приподнявшись на локте, Жарков одной рукой начал ощупывать тело старшины. Оно было холодным, точно вырубленным изо льда, впрочем, это был другой — не влажный, а сухой холод. А пуговицы и пряжка на ремне были теплыми, нагретыми солнышком. Но об этом Жарков догадался позже, а поначалу отдернул руку от пряжки, даже чуть-чуть напугался, вроде живым еще почудился ему старшина Дробот.

Внимание Жаркова привлекла фляга. Она висела на поясе старшины. Жарков схватил ее и потянул к себе. Но фляга не поддавалась. Она была прикреплена крепко и надежно. Жарков вспомнил, как старшина учил: «Делай, как навсегда. Не так много у солдата предметов, чтобы еще и терять их».

Жарков долго провозился с зажимом. Ему показалось, что прошла целая вечность. Наконец он отцепил флягу и, дрожа от нетерпения, поднес к губам. Отпил большой глоток и задохнулся: ни вздохнуть, ни кашлянуть, ни выплюнуть. Вместо воды во фляге была водка. Жарков проглотил ее и почти тотчас ощутил жар во всем теле. И тут же закружилась голова, он провалился. А когда очнулся — над полем висел полумрак, на небе появились первые звезды.

Жарков, придя в себя, почувствовал силы.

«Может, вода есть у политрука?» — рассудил он.

Жажда по-прежнему была мучительна и заслоняла собой все мысли.

У политрука фляги не оказалось. Пистолет, планшетка, и все. Но не

это привлекло Жаркова. Он не часто видел политрука, но когда видел, поражался подтянутости, стройности его. Сейчас политрук лежал лицом вниз и казался полным, неуклюжим, толще самого себя.

«Чего это его так раздуло?» — удивился Жарков.

Он опять же боком примостился у тела политрука и начал ощупывать его. Под гимнастеркой определилось что-то мягкое.

«Неужто теплое белье напялил?» — еще раз удивился Жарков.

Под гимнастеркой политрука была темная и мягкая материя. Жарков не сразу понял, что это такое, а когда понял, откинулся на спину, чувствуя, как часто-часто заколотилось сердце.

«Вот оно что... Вот оно — особое задание».

Тело политрука выше пояса было обернуто красным бархатом.

«Так что же делать-то? — растерялся Жарков. Он тотчас рассердился на себя. — А я что — идиот? Что ли, не знаю?»

Жаркову опять вспомнились наставления старшины: «Сам погибай — знамя выручай».

Теперь он знал, что делать.

«Только силы нужны», — здраво рассудил Жарков и начал действовать.

Гимнастерку с политрука никак было не снять. Жарков разрезал ее от ворота до низу.

Распухшая собственная нога мешала делу. Основное время уходило на то, чтобы уложить ее поудобнее, а это приходилось делать почти перед каждым новым движением.

Материя к телу политрука была прикреплена изоляционной лентой.

«Сгодится», — решил Жарков.

Требовалось перевернуть тело политрука на спину. Жарков никак не мог справиться с этой задачей. Если бы не нога...

У него появилась одна идея, но он стеснялся ее осуществить. Можно было бы подсунуть палку под тело политрука... Вроде рычага... Тогда было бы...

Но Жаркову все казалось это кощунством по отношению к политруку. Несколько попыток обойтись без «рычага» не дали результатов.

«Уж извините», — про себя сказал Жарков и взялся за палку.

Он не замечал, как летело время, отдыхал, если чувствовал, что силы окончательно покидают его, и, приходя в себя, снова принимался выполнять свой долг. Именно долг — так Жарков окрестил для себя то, что он делал.

С большим усилием сняв знамя с тела политрука, Жарков отвалился на спину и дал себе долгий отдых, сознавая, что сделана половина, основную задачу еще предстоит выполнить.

Если бы Жарков мог стоять, если бы он мог хотя бы передвигать ногами, твердо повернуться кругом...

Все приходилось делать лежа. Нога тянула, как гиря. Жарков в одну сторону — нога в другую...

Обессиленный, весь выжатый, крайне отяжелевший и в то же время как будто пустой, бескровный, уже на рассвете прискакал Жарков в свое укрытие.

Что и как он делал, Жарков не запомнил, лишь одну мысль удержал он до следующего пробуждения: «Если спросят, что со мной? А тогда я отвечу: будто бы ранен, в грудь, навылет».

Он остался доволен своей хитростью и, засыпая, даже улыбнулся ей.

Проснулся Жарков только под вечер, опять вспомнил эту мысль и снова одобрил свою хитрость. Но тотчас застонал, потому что повернулся, как здоровый, а нога напомнила о себе.

С этой минуты Жарков уже не забывал о ноге. Появилось как бы два существа в нем одном: он, Жарков, отдельно, и она, его нога, отдельно. Нога жила будто бы своей жизнью и все чаще не хотела подчиняться ему. Причем с каждым днем она все больше выходила из повиновения, все наглее и требовательнее вела себя по отношению к хозяину, пока, наконец, не подчинила его своей воле...

Но все это было потом, позже, а сейчас нога успокоилась, и Жарков лежал, вглядываясь в начинающее темнеть небо, чувствуя удовлетворение собой, приятную радость этого удовлетворения: «Все-таки преодолел себя, выполнил свой воинский долг». Жарков не удержался, засунул руку под гимнастерку и погладил приятный бархат укрытой им святыни полка.

Ему опять захотелось пить. Притихшая было жажда вновь напоминала о себе.

«Надо попытаться, пока еще есть силы», — приказал себе Жарков и начал выбираться из своего убежища.

В голове Жаркова созрел план работы этой ночи: добраться до болота, напиться, а затем забрать, наконец, документы политрука и старшины, ну и оружие. (Оружие обязательно.)

У него накопился некоторый опыт, и Жарков удачнее, чем вчера, поднялся и поскакал от дерева к дереву. Перед тем как появиться на открытом поле, он долго прислушивался, внимательно озирался и набирался сил для долгой дороги. По-прежнему ничего подозрительного не прослушивалось и не наблюдалось, и Жарков, вдохнув побольше воздуха, пустился в путь.

Возле тела политрука он все-таки остановился. Вчера, высвобождая знамя, он разрезал ему гимнастерку, и теперь она свисала по бокам, обнажая загорелую спину. Надо было ее прикрыть, но Жарков сдержал себя: «На обратном пути, на обратном...».

Доскакав до дальних кустов, Жарков не увидел никакого болота, никакой воды. Трава да кочки. Раздосадованный, он передвинул палку, чтобы прилечь и отлежаться после дороги, и тут под ним чавкнуло. Жарков упал, навалился всей тяжестью на мшистую кочку и припал губами к влажной землице. Он высасывал пахнущую гнильцой и торфом застоявшуюся влагу и не ощущал ни запаха, ни вкуса...

На обратном пути, как и намечал, Жарков задержался подле политрука и старшины Дробота.

Он склонился над ними, грудью опершись на палку, и постоял молча.

Вынув из карманов убитых документы, письма и мелкие личные вещи, Жарков долго размышлял, что с ними делать. В темноте не видно было ни букв, ни строк, потому нельзя было сказать, насколько важна та или иная бумажка. Только партийные билеты Жарков сразу узнал по твердой оболочке и машинально потянулся к карману, к своему комсомольскому билету.

Сложив все обнаруженное в фуражку старшины, Жарков захватил пистолет политрука и отправился в обратный путь. Автомат старшины и своего «дегтяря» взять он не смог. И так едва держался от усталости.

Весь следующий день он опять проспал в своем укрытии и проснулся

лишь потому, что почувствовал: кто-то ползет по его лицу. Помедлив, Жарков снял с подбородка муравья и обрадовался ему: «Вот и друг появился. По крайней мере, живое существо... Да тебе ни пуля, ни осколок нипочем... Ты окапываться умеешь... Ты старый боец...».

Мысленно поговорив с муравьем, Жарков вспомнил о недоделанных вчера делах и попытался подняться, но не тут-то было. Нога будто приросла к земле. Чтобы оторвать ее, потребовались все силы.

Ему пришлось подолгу останавливаться у каждого дерева.

«И все равно я сперва должен напиться, а то и вообще...»

Пока добирался до болота, трижды оседал на землю. Один раз ему повезло. Наткнулся на ягоды — бруснику. С жадностью проглотил их, не разжевывая, а потом жалел: «Надо бы пососать. Они жажду снимают».

В эту ночь Жарков успел лишь забросать тела товарищей ветками так, что казалось, словно они покрыты сеткой.

С собой Жарков утянул только своего «дегтяря», правильно рассудив, что автомат полегче, его можно и после взять, когда сил еще меньше останется.

Мысль о том, что ему может быть и наверняка будет еще хуже, что он вконец ослабнет без питья и еды, не напугала Жаркова. Он тотчас начал соображать, что бы такое придумать, как бы продержаться подольше. Никаких планов, никаких особых надежд не было, но духом он не падал, твердил одно: «Надо держаться, особенно теперь, когда при мне знамя».

Весь этот день он забывался, приходил в себя, открывал глаза, повторял эти слова и вновь уходил в забытье. Но даже и во сне и в забытьи он чувствовал свою ногу, вернее — тягучую ноющую боль. Боль возникала в ноге и расплывалась по всему телу, наполняя каждую клеточку. У Жаркова было такое ощущение, что он весь пронизан болью.

«Все же надо ею заняться», — подумал Жарков о своей ноге с грустью, потому что она отвлекала его от важных дел, которые он до сих пор еще не закончил.

С детства запомнился ему случай. Соседский Лешка — его дружок и погодок упал с крыши и сломал ногу. Лечила его бабушка Настя. Лечила по-народному: ноги в березовый лубок, а к ране березовые «жовки» прикладывала.

«Поможет ли?» — засомневался Жарков. Но другого ничего не оставалось, и он поднялся, превозмогая боль, поскакал к первой березе. Кора на ней была сухой, потрескавшейся от времени. Жарков отодрал кору и снял пленку со ствола. На вкус — горьковата. Он стал жевать эту пленку. И со следующего дерева снял кору — как трубу водосточную — и пленки побольше.

«Теперь бы бинтик».

И тут Жарков вспомнил, что из карманов старшины он вроде бы вытащил индивидуальный перевязочный пакет.

Память не обманула.

«На грудь бы надо, — рассудил Жарков, подумав о мнимом ранении. — Хотя бы для маскировки».

Тут он сообразил: мягкую часть бинта, ту, что с ватой, — на рану, остальное — на грудь.

«Пойти-то все равно не придется... А себя обработать засветло надо».

Тело болело. Нога, как аккумулятор, от которого шла эта боль.

Главное, прислониться не к чему было. Кусты не держали. Пришлось захватить все принадлежности, выползти из укрытия до первого дерева.

Жарков размотал обмотку. Из раны шибануло гнилью. Он невольно отвернулся и перевел дыхание. Потом достал нож, почистил его о траву. Этого ему показалось мало, он оторвал кусочек бинта, смочил его водкой из фляги, обтер лезвие и начал деловито срезать потемневшие участки кожи и мяса. Как ни странно, боли вроде не чувствовал. Он нажевал березовой пленки и коры и приложил все это к ране.

А сверху — ватный тампон.

У него еще хватило сил уложить ногу (с помощью здоровой) в березовый лубок, и тут он потерял сознание. Уже в темноте очнулся, замотал обмотку и уполз в укрытие.

Разбудил Жаркова голод. Это было странно. Все дни он хотел только пить. Жажда заглушила все остальные желания. А сегодня — есть захотелось. Голод был настолько сильным, что Жарков поднялся, обскакал все вокруг, но, кроме нескольких грибов да веточки брусники, ничего не нашел.

Силенок после сна вроде прибавилось. Он сделал перевязку, поменял «жовки» и решил забрать оружие. Только зря на себя понадеялся. Встать-то встал, но тут же опустился на землю: слабость одолела.

На следующую ночь Жарков все-таки где ползком, где скоком добрался до политрука и старшины, набросал на них сверху очередную охапку веток и автомат ухватил, уволок его за собой, как щенка на веревке.

И вот настало время, когда у Жаркова уже не было сил выходить из леса.

Медленно, с натугой он поднимался, точнее, выжимался на палке, через скок-два опускался и обследовал ближайшие кусты и деревья, надеясь найти что-нибудь съестное. Если находил какой-нибудь корешок, ягоду — был доволен. Возвращался в свое логово, лежал, думал, а то перебирал вещички убитых товарищей.

Главное было унять ногу. Когда ему это удавалось, он брал пожелтевшие, поистертые на сгибах листки бумаги и с интересом разглядывал их. Листочков было немного: письмо политрука матери и письмо жены старшине. Политрук обращался к матери «мамочка», оказывается, писал стихи. Жарков повторял их вслух, чтобы отвлечься от боли, и вскоре выучил наизусть.

Побываем мы где-нибудь чуточку
И увозим в далекую даль
Эту близкую сердцу минуточку,
Эту милую сердцу печаль.
И местечко-то нам не приметится,
И названье забудем его,
Только память о нем солнцем светится
И дороже нам больше всего.
Пруд зеркальный, где лебеди плавают,
Где висят над водой тополя,
Где покрылася русскою славою
Вечно русская наша земля.
И за эту сторонушку тихую
Я готов в страшных битвах страдать,
Я готов всю Россию великую
До конца моих дней защищать.

Жарков понимал: это еще ненастоящие стихи, но что-то в них было такое, что брало за сердце. Через них политрук вставал как бы вровень с ним и помогал Жаркову перенести свои тяготы. Даже мертвый помогал.

«И за эту сторонушку тихую», — начинал Жарков, когда очень уж прижимала боль, и она будто отпускала, не то что отпускала, а как бы отходила на второй план.

Старшина по письму выявлялся тоже не таким строгим и сухим, каким знавал его Жарков. «Ванюша, — писала старшине жена. — Ноги-то, ноги береги. Не забывай про свою ревматизму. Конешно, война, но все ж таки... А о нас не тужи. Мы тут всяко-разно выдюжим...»

«Ну, разве сухарю такое напишут?..»

Читая и перечитывая письма товарищей, Жарков представлял их живыми и жалел, что их нет. Жалость эта была особая, м ы с л е н н а я, не сердцем, а сознанием. Он заметил в себе странное раздвоение: думал об одном, а чувствовал другое. Думал о друзьях, о доме, о матери, об отце, о брате, о Линке, а чувствовал боль, ногу свою и ее власть над собою, которой он, все его существо никак не хотело подчиняться.

Жарков потерял счет дням. Мелькало перед глазами то белое — светлота, то черное — темнота, а то чудилось — будто ночь, открывал глаза — над головой голубой колодец.

«Это не ладно, — сказал он себе. — Вдруг что... А на мне знамя».

На всякий случай сунул «лимонку» в нагрудный карман.

А с провалами боролся так: начал вспоминать свою жизнь с того дня, как помнил себя. Получалось интересно: будто картину смотрит. Он же и главное действующее лицо, он же и единственный зритель.

Поначалу ему виделись неясные, мутные кадры, словно не было резкости или пленка старая.

Вот он совсем махонький, белобрысый мальчишка, помогает бабушке. Она вяжет на спицах, он клубок держит. Руки у бабушки словно состоят из жилок, и когда она вяжет, жилки шевелятся—тоже вяжут. Бабушка поет дребезжащим голоском: «Клубок боле, боле, боле, нитка доле, доле, доле».

Что-то теплое, давно и безвозвратно ушедшее связано с этим кадром. Жаркову почему-то становится жаль и бабушку, и белобрысого мальчишку. Вероятно, потому, что беззаботное детство больше не вернется, бабушки давно нет, а он, Жарков, тот белобрысый мальчишка, лежит вот в чужом лесу, раненый, со знаменем на груди, с «лимонкой» в кармане. И боль его гложет, собственная нога не дает покоя.

Жарков застонал, но заставил себя смотреть следующие кадры этого необычного кино для себя.

Снова смутно и тускло, почти ничего не разобрать. Привезли хлеб из города. Он видит только этот хлеб. Ах, какой каравай! Прямо кулич! Высокий, пышный, белый. Он вроде живой — дышит. А корочка! Она похрустывает и тает во рту.

Жарков ощутил вкус того, испробованного в самом раннем детстве городского хлеба и вновь почувствовал голод.

«К черту! — прикрикнул он на себя. — Поехали дальше».

А дальше он опять видит себя — мальчонку в шубейке-борчатке [1] (дело было зимой). На базаре он нашел белую денежку (в ста шагах от

[1] Отрезная шубка из овчины, собранная складками на поясе.

дома). Первый порыв — купить сладкого. Он и купил пряников. Но по дороге домой его вдруг стали мучить совесть и страх. Совестно было — почему маме не отнес денежку? И страшно — что теперь ему будет? Чем ближе к дому, тем сильнее одолевали его эти чувства. Даже пряники не доел, а спрятал за сарайчиком. А вечером будто бы ни с того ни с сего — разревелся.

Голос матери за кадром. Ее осторожные ладони на лбу.

«Вот сейчас бы ее сюда. Она бы поухаживала за мной... Но-но, красноармеец Жарков, не распускайся», — одернул он себя...

А это снова он, Димка Жарков, перед самой учебой. Он еще не ходит в школу, но часто забегает туда. Он подружился с ребятами, с пионерами. Он там свой человек, настолько свой, что ему дали красную октябрятскую звездочку. Он счастлив, у него на душе праздник, но, выйдя на улицу, он зарывает эту звездочку в сугроб.

Жарков видит растерянное лицо мальчишки, слезы на его глазах. Он знает, в чем дело и почему мальчишка поступил так нелепо. У него сложные отношения с родственниками — детишками дядей и тетей (а их полсела!). Однажды он похвастался: «А я — октябренок». И они стали дразнить его: «Октябренок — теленок»...

Снова боль прервала мысленную картину. Нога «наступала» на Жаркова. Она будто требовала от него всеобщего внимания, она будто протестовала на то, что он отвлекался. Ее надо было бы перевязать, поменять «жовки», но у него нет сил двигаться, он как бы пустой, бескровный, а точнее сказать, вся его кровь там, в раненой ноге. Она стучит, колотит. Он слышит ее удары.

«Ну, ну, ну, — внушает себе Жарков. — Смотрим дальше...»

Ему удается преодолеть боль и переключить внимание на свой необыкновенный фильм.

Кадры блеклые. Не видно лиц. Мальчишки на мешках с зерном. Их горы, этих мешков. Для них не хватает амбаров, и поэтому мешки сложили во дворе общественного дома. А им, ребятам, раздолье. Играй. Прячься, фантазируй. Мешки — это и крепости, и башни, и баррикады. Мальчишки играют в войну. И он, Димка Жарков, среди них.

«Но сейчас уже не игра. Сейчас я ранен и лежу в чужом лесу... И нога, моя же нога — мой первый враг и противник...»

Снова светало, потом было темно, а быть может, это перед глазами мрак. Жарков спал и не спал, он то проваливался, то опять возникал.

Перед глазами кадры. Они мелькают и уже ничего не разобрать. Только кадры, кадры, кадры. Он, Жарков, там, на них. Он знает это, хотя и ничего не видно.

Жаркова стало знобить. Озноб появился где-то внутри, в костях, в позвоночнике. Он, как маленький червячок, зашевелился и пополз по телу. И вот уже сотни, тысячи, миллионы червячков. Они повсюду, они в каждой клетке — ползут, шевелятся, не дают покоя. Жаркову кажется, что через него пропускают ток, он весь дрожит, весь трясется под этим током.

«Ну, выключите же... Выключите рубильник», — хотел крикнуть Жарков, но голоса не было. Сил не было.

Сколько его знобило, Жарков не знает. Очнулся — весь в испарине. Нет, испарины как таковой не было, видно, воды в нем не осталось. Но он чувствовал эту испарину на спине, на лбу...

— Пить, — простонал Жарков и услышал свой голос. И оборвал

себя: — Тихо! — И тут включилось сознание и объяснило, почему надо лежать тихо: «Я в лесу. Кругом могут быть враги. А со мной знамя».

Теперь он мог только думать. Нога одолела, боль осилила его. Но она была сейчас не такой болезненной, как раньше, он словно бы привык к ней, хотя временами пересиливать ее было невыносимо.

Чем дальше, тем труднее было ему выносить приступы. Случались моменты, когда он подумывал: «Рвану сейчас за кольцо, и все. И кончатся эти муки». Однажды он даже подтянул руку к «лимонке», но тут ощутил мягкость под пальцами и отдернул руку, словно ожегся.

«А знамя-то... — осудил он себя. — Нет, нельзя. Надо выжить».

Жарков не знал почему, но ему все казалось, что он обязательно выживет и все обойдется, а то, что сейчас происходит, — это какой-то жуткий сон. Он кончится. Однажды проснется, и все будет хорошо.

Конечно, ему так хотелось. Однако он был не волен над собой. Теперь командовала болезнь, нога, тяжелая рана. А то, что он не верил в плохое, помогало ему выстоять. И главным утвердителем этой веры было з н а м я на его груди. Чуть что, как только в полубессознанье он дрогнет, как только муки возьмут верх и рука потянется к «лимонке», пальцы тотчас наткнутся на мягкое, а оттуда точно особая сила излучается, она повелевает: «Нет, нет. Теперь знамя спасти надо».

Порою Жарков чувствовал, как от бархата исходит тепло. Иногда ему чудилось, что само сердце завернуто в этот бархат.

«Выживу. Вытяну. Выстою», — твердил он, как только приходил в себя.

Как-то ему послышались голоса. Еще не полностью придя в себя, Жарков схватился за пистолет (пулемет, автомат и пистолет лежали под боком). Он сам удивился этой быстроте и точности. Он думал, что у него уже не осталось сил. Оказывается, они еще есть. Это ободрило.

«Еще поживу... Надо... Знамя... Для него...»

Вновь послышался голос. Теперь уже один. Жарков встрепенулся: левая рука за пистолет, правая — к «лимонке». (Когда он переложил пистолет?)

— Дядько красноармеец, не стреляйте. Дядько красноармеец, я свой.

Жарков раскрыл глаза и в тусклом свете, как отражение в мутной воде, увидел лицо мальчишки. Оно дрожало и расплывалось, точно и в самом деле по нему ходили волны.

«Ну-у, парнишка», — облегченно подумал он и отложил пистолет. Руку с груди не убрал, прикрыл ею знамя, готовый в любой момент дернуть за кольцо.

ВОСКРЕСЕНИЕ

Жарков слышал разговоры, но не вникал в них. Все внимание, все силы были сосредоточены на том, чтобы уберечь ногу, не причинить ей ни вреда, ни боли. Еще вначале, когда чьи-то руки перетаскивали его на старый дождевик, он велел подсунуть здоровую ногу под больную. Они долго не понимали его. Тогда Жарков собрался и прошептал:

— Ногу на ногу... Под...

И провалился.

Очнулся, когда его уже волокли по лесной дороге.

Жарков застонал, и чьи-то пальцы тотчас поднесли к его губам ягоду. Он стал сосать ее, ощущая кисловато-терпкий вкус во рту и облегчение от этого вкуса. Ему опять совали ягоду, и он снова сосал ее. И странно! В нем появились силы. Он понял это по звукам. Долгое время он не различал оттенков, улавливая один, общий звук. А сейчас звуки слышались раздельно: голоса, шуршание брезента, легкие шаги. По голосам понял, что его волокут трое: мальчишки и взрослый. Свои. От сознания, что он попал к своим, Жаркову сделалось покойно. Опять представилось, что он плывет по реке, и волны шуршат о гальку, и его покачивает на воде. И тут ожгло.

— Оружие? — спросил он и услышал уже не шепот, а свой, чуть хрипловатый голос. — Где оружие?

Жарков попытался приподняться и не смог, потому что в этот момент те, кто его тащил, бросили брезент и кинулись врассыпную. Только пятки застучали по твердой земле.

Жарков откинулся и замер.

— Не дури, — послышалось после паузы. — Ну, шо ты за свою цяцьку хватаешься? Мы ж тоби ничого...

Жарков догадался, что именно спугнуло его спасителей: правая рука все еще лежала на груди, у «лимонки», как бы прикрывая знамя.

— Где оружие? — повторил Жарков и открыл глаза.

Перед ним стоял весь заросший старик, с сизым носом и седой головой. Снизу, с земли, он казался высоким, будто пришедшим из сказки.

— Та спрятали, — объяснил он.

— Достать надо, — сказал Жарков, но этого уже старик не услышал. На Жаркова опять навалилась такая слабость, что он лишился голоса и снова закрыл глаза.

Дорога пошла глаже, но потом они куда-то свернули, появились корни, кочки, бугры. Жаркова так тряхнуло, что он потерял сознание.

Очнулся от тишины. Почувствовал, что находится не под открытым небом. Пахло сеном и слежавшимся навозом. Чирикали воробьи. И этот давно не слышанный звук заставил открыть глаза.

Стоял полумрак, но по тому, как сквозь щели в крыше острыми полосами падал свет, Жарков догадался, что на улице сейчас день и светит солнце. А он находится на сеновале. Ему вспомнилось, как в детстве он ездил к деду в деревню Зарянку и там тоже спал на сеновале. Под стрехой он заметил пучки льна и несколько свежих веников. Точно так же и на дедовском сеновале, под крышей торчали пучки какой-то травы, веники и серп с перекошенной ручкой.

Тут он удивился тому, что нога вроде бы не болела. (Или он привык к этой боли?!) Зато от нее несло гнильцой. Он уловил неприятный запах. «Надо бы перевязать. Опять бы «жовки»...»

Внизу скрипнуло, и кто-то стал неторопливо подниматься по лестнице. Жарков затаился, на всякий случай прикрыл глаза.

Сухо зашуршало сено. Кто-то присел перед Жарковым.

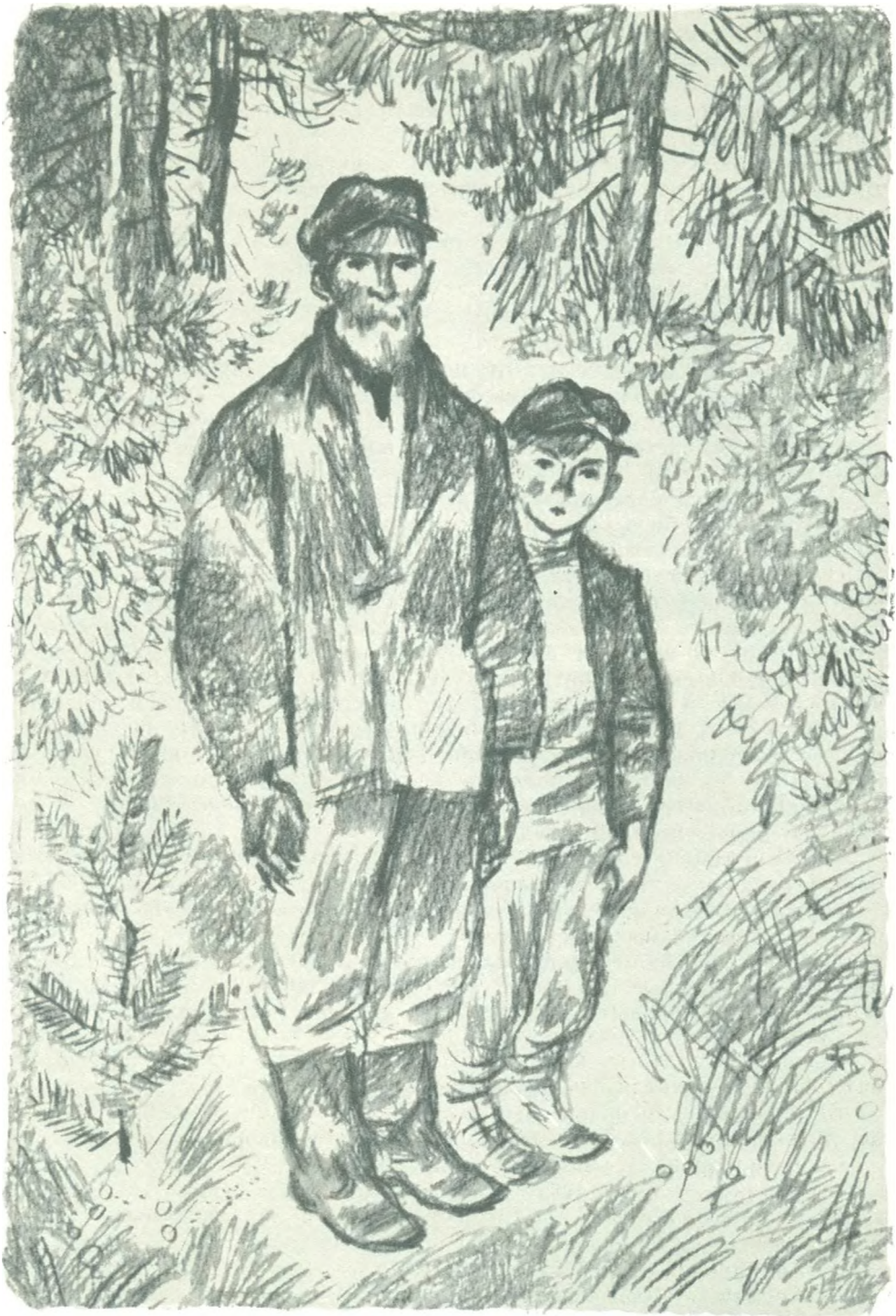
— Хлопчик, — раздался женский голос.

У Жаркова защемило сердце: вот так же по утрам, бывало, его будила мама.

— Хлопчик, — добрая рука погладила его по лицу.

У Жаркова дрогнули ресницы.

— Поишь молочка парного. Поишь.



Женщина, судя по голосу, была немолодая, и руки немолодые, натруженные работой, но такая мягкость и теплота исходила от них, что Жаркову стоило усилий не заплакать.

Жарков пил с ложки, а женщина тем временем рассказывала:

— У сосидки взяла. Мы свою коровушку не смогли сховаты. Немец-бандюга забрал.

Рассказ ее вывел Жаркова из той минутной расслабленности, что нагнали на него воспоминания о матери. Действительность была суровой и жестокой. Она не позволяла расслабляться.

— Пошлите ко мне мужика... того, что тащил меня,— попросил Жарков и замолчал, чувствуя, что устал после длинной фразы.

— Хведора? Пошлю, пошлю.

— Перевязать бы, — выдохнул Жарков.

— Добре, добре, зроблю...

Он снова как бы отошел в глубину, не очень помня, что происходит, и в то же время ощущая добрые руки на себе.

Было больно. Жарков молчал, терпел. Но когда эти руки попробовали расстегнуть гимнастерку, он воспрянул, воспротивился:

— Не-е...

И всякий раз, когда пытались посмотреть или перевязать его грудь, он приходил в себя и категорически возражал: «Не-е...».

Часто, возвращаясь из забытья, Жарков вспоминал мать и все, что было связано с нею. Чаще всего представлялся один случай. Ему лет шесть-семь. Он с мамой впервые едет в поезде, в соседний город. Но у него нет билета. Он не знает, почему так получилось, только отчетливо помнит факт: у него нет билета. А тут контроль. Мама растерялась, а он — нет. Он сказал контролеру: «Но мне же еще нет шести лет». Соврал уверенно и твердо. И контролер поверил. А мама посмотрела на него удивленно. И все дни, пока они находились в городе, поглядывала на него пристально, будто поражалась тому новому, что вдруг открылось ей в сыне. На обратном пути он не выдержал, покаялся и объяснил, что соврал ради спасения чести. «Не надо больше, сынок. Никогда не делай больше», — сказала мама.

«Но я и сейчас собираюсь соврать, — думал Жарков. — Я и сейчас представляюсь, будто в грудь ранен».

Но как и тогда в детстве, он и сейчас не чувствовал ни угрызений совести, ни искреннего раскаяния.

Пришел дед Федор, долго сидел подле Жаркова, считая, что тот не чует его прихода.

Жарков предварительно постонал, как бы предупреждая деда, и спросил:

— Ну?

— Тай дуги гну, — неожиданно произнес Федор.

— Оружие? — Жарков открыл глаза.

Дед, видно, понял, что ответил нехорошо, заговорил торопливо:

— Та принесли. На огороди заховали.

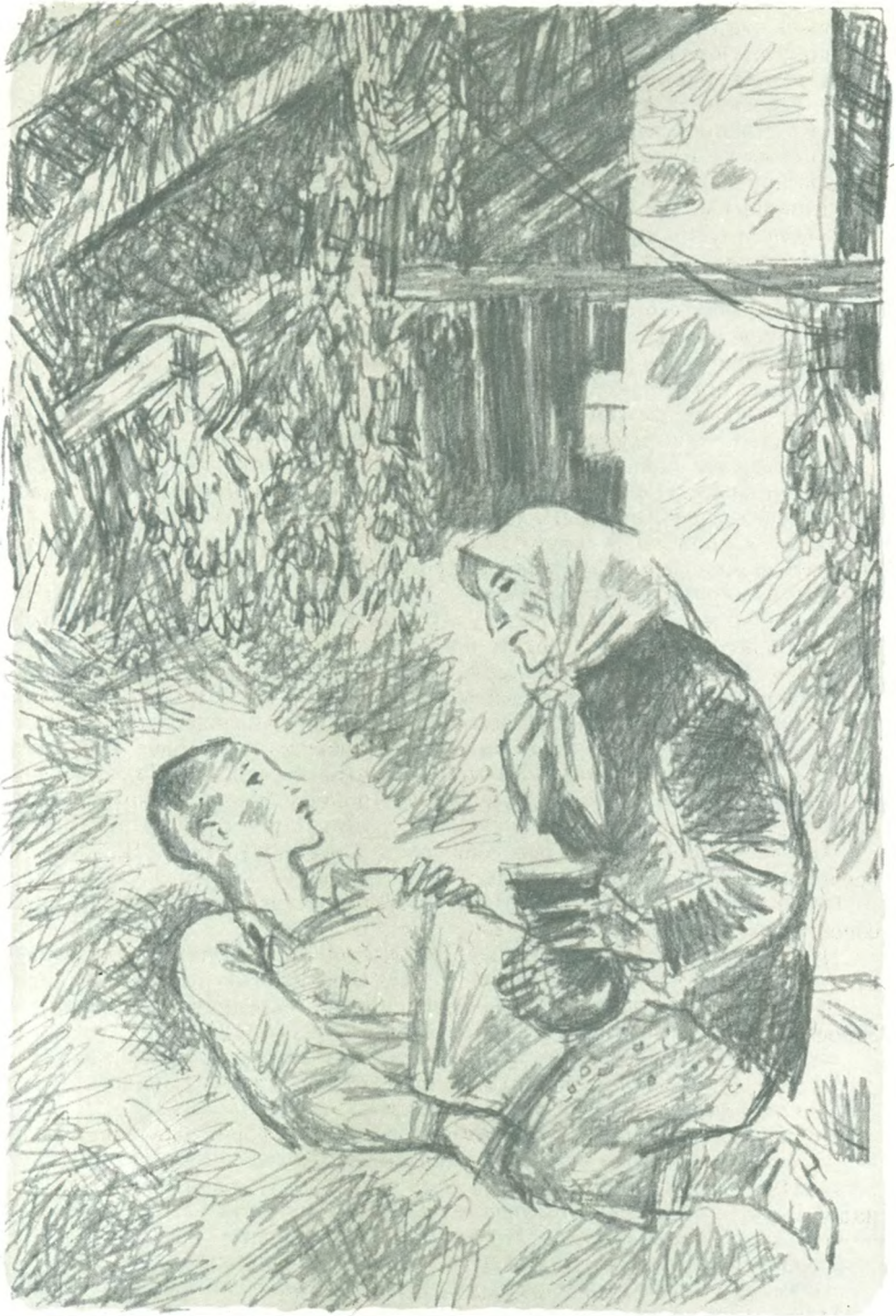
— Пистолет, — приказал Жарков, — пистолет сюда... Мне... Так надо...

— Та нимцив нема.

— Обстановка может изменится.

— Та може, — согласился дед.

И снова Жарков провалился. Прошло какое-то время, которого он



не помнит. Кто-то его кормил, поил с ложечки (наверное, та женщина), перевязывал, но как только прикасался к груди, он встряхивался и возражал: «Не-е».

В полузабытьи к нему снова приходила мама, говорила свои слова: «Не надо больше, сынок. Никогда не делай такого больше». А он объяснял ей, что другого выхода нет. «Ах, мама, ты просто не знаешь, что такое знамя. Нет его — и части нет. А есть знамя — часть живет. Это вроде сердца у человека. Без него жить невозможно».

Однажды к нему явилась Линка Часова, спросила: «А ты ни о чем не жалеешь? Ни в чем не раскаиваешься?» «Жалею. Раскаиваюсь», — признался он, но о чем и в чем — не сказал, только про себя стыдливо подумал: «В том, что тебя не поцеловал тогда, на выпускном вечере, то есть после него, когда по улице шли...».

Потом к нему заявился Серега Нетбайло — его школьный дружок.

«Вот говорил — просись в танковое училище». — «Меня ж не спросили, — возразил Жарков. — И от пехоты я не отказываюсь».

Один раз будто бы пришел старшина Дробот и никаких замечаний не сделал. Редкий случай, это значит — все в порядке.

Его сменил политрук (отчетливо так появился), положил руку на плечо, одобрил: «Правильно, товарищ Жарков, понимаете задачу. Я вас всегда считал сознательным бойцом».

От этих видений Жаркову было радостно, и, приходя в себя, он жалел, что наяву они не могут повториться.

Однажды ему стало жаль себя.

«А вдруг меня не будет. Умру. И никогда больше не увижу ни отца, ни маму, ни брата, ни Серегу, ни Линку. Не стану никем. Например, учителем. Не увижу зиму, лето. Не схожу в нашу березовую рощу. Умру, а мне всего девятнадцать...»

Пришел в себя от слез, почувствовал их вкус на губах. Быстренько утер их и отругал себя: «Я ж выполняю особое задание. — И начал внушать: — Не распускаться. Держаться. Выстоять».

К нему опять пришли старшина Дробот и политрук, одобрили: «Правильное решение. Надеемся на вас, красноармеец Жарков».

Так шли дни. Сколько их — неизвестно Жаркову.

Неожиданно усилилась боль в ноге, в кости. Такого еще не было. Будто бы кость пилят поперечной пилой, и никуда от нее не укрыться. Боль невыносимая.

К Жаркову являлся старшина Дробот, говорил: «Терпи». Но Жарков не мог терпеть. Он стонал, метался, плакал. Это было помимо его воли.

В минуты короткого затишья, когда «пила» затихала на несколько секунд, он облизывал шершавым языком потрескавшиеся губы и кто-то с ложечки в него вливал капли жидкости. Он уже не разбирал, что это — вода, молоко или квас, жадно глотал, готовясь к новой «пилке».

Когда терпеть стало невмоготу, Жарков закричал:

— Ну, отрежьте ее... Отрежьте, не могу!

Но пила все пилила и этому острому, щемящему ощущению не было конца.

И вдруг... замолкла. Жарков облизнулся, попил и замер в ожидании новой пытки. Но ее не было. Не было минуту, две, три. Он начал считать про себя, досчитал до ста и уснул. Он не спал трое суток.

Вначале ему ничего не снилось, а потом стали сниться сны один за другим, будто их гнали подряд, как картины на непрерывном сеансе.

Огромное поле. Ни конца ни края. Все в белых одуванчиках. Он и мама. Белое облачко окружает их. И вдруг из облачка появляется старшина Дробот, делает замечание: «Ремень подтяните, Жарков». Оказывается, на нем красноармейский ремень, хотя сам он маленький и идет по полю с мамой за руку. Голос Линки (а ее не видно): «Поехали в Испанию». Самолет не самолет, ковер-самолет не ковер-самолет — что-то непонятное, но они летят. И облака клубятся под ними. И солнце слепит до слез. А навстречу Гитлер. Раскинул руки — летит, только чуб болтается, как хвост у собаки. Жарков смело ему навстречу, и ремнем его, ремнем. Гитлер уклоняется и продолжает полет. Тогда Жарков ремень петлей и — р-раз! — Гитлера за шею...

И вовсе не Гитлер, а бумажный змей. И он опять маленький. И в небе бумажные змеи...

Появляется духовой оркестр. Музыки не слышно, но видно — играют. И все музыканты похожи на старшину Дробота. Из глубины оркестра выходит политрук и подает Жаркову полковое знамя. А у Жаркова тоже труба в руках, и он никак не может поднять знамя...

Жарков застонал, уже не от боли, а от этого нелепого положения, и проснулся.

— Слава богу, оклемался, — сказал женский голос.

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ

Жарков открыл глаза.

— Слава богу, оклемался... — повторила женщина.

Она была старая. Из-под темного платка выбивались две седые пряди, лицо в морщинах. Но вся она еще крепкая той деревенской крепостью, что вырабатывается годами тяжелой работы.

— Баушка, — произнес Жарков.

Он назвал ее так, как уважительно звал свою старенькую бабушку Тину, которой давно нет в живых. И почему-то это неожиданное внутреннее сходство, что само собой возникло в его душе и выразилось в бесконтрольно произнесенном слове, еще больше растрогало Жаркова и усилило симпатию к этому впервые увиденному человеку.

— Вот и добре, — улыбнулась бабушка, показывая еще крепкие зубы. — Вот и вернулся хлопчик с того свету.

Она не дала ему ответить, засуетилась.

— Поесть, поесть, поснидать треба.

И быстренько спустилась по лестнице.

Жарков с интересом начал осматривать сеновал, как будто видел его впервые, точно и в самом деле вернулся с того света. Ничего нового он не увидел и в то же время словно видел все заново. Узнавал и в душе радовался этому. И пучкам льна, и свежим веникам, и старым, потемневшим балкам, и сеточке паутины в ближнем углу.

Странные были ощущения. Как будто он вернулся в знакомые места после долгой разлуки (хотя в его жизни такого возвращения еще не было. Он впервые ушел из дому надолго, в армию... Но Жарков читал об этом и представлял себе подобные состояния).

Впрочем, не совсем так. Он будто заново познавал и себя, и окружающие предметы.

Жарков поднес к глазам руки и начал рассматривать их. Они были нечистые, костлявые, с трауром под ногтями, они были какие-то бескровные, вялые, пальцы дрожали.

Тут он вспомнил о знамени, просунул руку под гимнастерку. На месте. Мягкий бархат промялся под пальцами.

И пистолет на месте.

А гранаты в кармашке не оказалось. «Лимонка» исчезла.

Жарков заволновался. Забыл о своих новых ощущениях. Хотел крикнуть, позвать к себе, но вовремя удержался. Да и кого звать? Его спасли, возвратили с «того света» люди, которых он совсем не знает.

Он стал припоминать женщину, деда, ребятишек. Женщина оказалась бабушкой, деда Федора он видел, а вот мальчишек и не узнает даже. А их было двое. Он вспомнил детский голос: «Дядько красноармеец, я свой». Кто из двоих говорил эти слова?

Жарков старался отвлечься, но тревога, вызванная исчезновением «лимонки», не проходила. Он все чаще прислушивался и поглядывал на приоткрытую крышку сеновала.

«Может быть, ребятишки взяли. Не дай бог еще подорвутся...»

Наконец донеслись шаги, показалась голова в темной косынке.

Бабушка пригляделась к полумраку, спросила негромко:

— Не уснул еще? Поснидать треба.

Жарков не выдержал:

— Бабушка, а где вот эта штука? У меня в кармане торчала?

— Бомба? Хведор сховал.

У Жаркова отлегло от сердца, но он все-таки велел:

— Пусть принесет.

— Та вернет, для чего та бомба.

Она стала кормить его с ложечки и объяснять:

— Ты дуже бился-крутился, от Хведор и сховал.

Бульон был горячий, вкусный. Жаркову казалось, что он впервые в жизни ест с таким аппетитом. Он физически ощущал, как с каждой ложкой в нем прибывает сила.

— Куры есть, — рассказывала бабушка. — Мы их загодя сховали. Теперь до зимы доживут. А дождь иде. Дорог нема. От шоссе до нас верст двести будет. А от Пяльцив близче, так то через лес... А воны леса боятся.

К Жаркову возвращалось ощущение действительности — кто он, и что происходит, и где он находится. Сила жизни — можно сказать, второе рождение — было сильнее всего. Сейчас он верил, что самое страшное прошло. Он будет жить.

— Бабушка, а вы местная?

— Ни, мы з-пид Витебска, уже сорок годов. Уже привыкли.

— А деревня у вас большая?

— Мала, десять хат.

— А как называется?

— Лесуха. Кругом леса... Поел? Добре?

— Хорошо. Спасибо, баушка... А Федора пришлите.

— Ось далась тоби та бомба... Ну добре, — сжалилась она. — А потом перевяжем рану. — Она помедлила и все же спросила: — А там, на грудях, як?

— Нет, — отмахнулся Жарков, — там трогать не надо. Там — навылет.

— Кровь, значыть?

— И пусть, и пусть. Не надо.

Он заволновался, и бабушка успокоила:

— Ну, добре, добре. Не треба так не треба.

Она приподнялась, покачала головой участливо.

— Як тебя зовуть?

— Дмитрием. Митей, — ответил Жарков после короткой паузы и удивился: давно уже не называл себя по имени, все по фамилии да по званию.

Это небольшое открытие обрадовало, как бы вернуло в детство: значит, он жив и будет жить, он — Митя Жарков.

Через некоторое время появился дед Федор, сначала лохматая голова, потом — он весь.

— С выздоровленьем тебе, сынку.

— Принесли? — прервал Жарков.

— Принимай свою цяцьку, то исть бомбу, — несердито сказал дед, подавая Жаркову завернутую в тряпку «лимонку».

Жарков осторожно взял ее, засунул на старое место, в нагрудный карман слева.

— Так спокойнее.

— Та-а, — отмахнулся дед. — Оно спокойнише и буде. Фрицы вон де. — Он присел рядом с Жарковым, сообщил доверительно: — Взрыв чул? Мабуть, мстители народны?

Жарков не очень понял смысл сообщения. После вкусного обеда его стало клонить ко сну.

Проснулся он от мелодичных звуков песни. Она долетала снизу, из сарая. Женский голос неторопливо выводил:

Катился вяночек с поля.
Допросился ён до покоя.
«Пустишь, жнея, до покоя?
Бо я в поле настоялся,
Дробным дождиком намочился».

Песня живо напомнила Жаркову бабушку, маму, родной край. Там пели так же бесхитростно и задушевно, пели во время работы, в праздники, пели, усыпляя малых детей. Жарков уже не мог спать, весь превратился в слух.

Пытала жнея у яго
Да сказать правду всяку,
Где вяночек той родился?
Якой росой умывался?
С яким солнцем целовался?

Снова ощущение обретенной жизни вспыхнуло в Жаркове, наполняя радостью все его существо...

Внезапно песня оборвалась. Донесся детский голос. Жарков уловил в нем знакомые интонации.

Жарков хотел крикнуть мальчика. Но голос исчез. Внизу стало тихо.

Вскоре послышались быстрые шаги. Спешил не взрослый. Жарков успел изучить шаги тех, кто поднимался к нему, у них был неторопливый, осторожный ход, а это — детский.

Мальчишка просунулся на сеновал и заробел, замер.

— Смелее, — позвал Жарков.

Мальчишка подскочил к нему, протянул руку.

— Во. Баба Христя велела.

— Что это?

— Та шапка.

— Зачем?

— Та морозно. Сегодня с утра щипало.

Жарков улыбнулся. Он вспомнил анекдот, который частенько им рассказывал старшина Дробот. Прибежал легко одетый цыганенок к отцу: «Тятька, замерз я». — «На, возьми мою опояску».

Мальчишка принял его улыбку как приглашение, сел поодаль.

— Это ты меня нашел? — спросил Жарков.

— Угу.

— Как же ты нашел меня?

— А мы за ягодою на болото ходим.

— Ну и...

— Та ничóго... нашел.

— Ну, я ж в кустах был.

— А кусты голи, и трава пожухла...

Он вдруг умолк, видно вспомнил, кто перед ним, посерьезнел.

— Тебя как зовут?

— Андрийко.

— Спасибо тебе, Андрейка.

Мальчишка растерялся, начал шмыгать носом.

— Что, насморк?

— Та не.

Тут Жаркову стало опять хорошо от сознания, что он снова живет и будет жить, так хорошо, что он решил обрадовать мальчишку.

— Хочешь, я тебе секретное задание дам?

— Угу, — выдавил Андрейка, огорошенный предложением.

— Ты будешь информацию собирать, разведку то есть. Как что узнаешь — ко мне.

— Ага, добре, дядько красноармеец, — поспешил заверить Андрейка, боясь, как бы дяденька не раздумал.

— Ну, шагай. Вечером — первое донесение.

Андрейка бочком попятился к лазу, очевидно все еще не веря, что получил задание.

На следующий день и второй мальчишка объявился. Его привел к Жаркову Андрейка.

Второго звали Власик. Был он повыше, посерьезнее Андрейки и все похлопывал себя за ухом, будто невидимого комара смахивал: от волнения, верно.

— Я вот чего у вас хотел спросить, ребята, — обратился Жарков. — Вот вы о чем доложите. Там, у того лесочка, больше никого не нашли?

Мальчишки молчали.

— Ну, может, не живых, убитых? — подсказал Жарков.

— Та были, — отозвался Власик и помахал за ухом, будто согнал невидимого комара. — На одном еще сорочка разодрана.

— Их дед Хведор в болоте похоронил, — дополнил Андрейка.

Наступила длинная пауза.

— Дядько красноармеец, — робко произнес Власик. — А може, и мне задание буде?

— А что, — согласился Жарков. — Вот вместе и наблюдайте. Только никому.

— Ни-и, — в один голос ответили ребята.

С этого дня ребятишки зачастили к Жаркову. Через них он узнавал деревенские новости (других пока не было) — и то, что у тетки Дарьи свинья пала, и то, что какой-то Минька в озеро провалился, и то, что у деда Федора во какая рыбина с крюка сорвалась. Сведения эти были мирного характера, но Жаркову было приятно слушать именно об этой мирной жизни, что проходила вокруг, отрадно сознавать, что она существует, не смотря ни на что. Порой ему казалось невероятным все, что произошло с ним, порой даже не верилось, что где-то идет война, гибнут люди, горят города и села. В такие мгновения он подносил руку к груди и, ощутив мягкость бархата, как бы освежался, как бы ощущал реальную обстановку.

К нему ежедневно заглядывали и дед Федор и бабушка Христя. Дед вел «политичные» разговоры на тему: «Смогёт ли Гитлерюга нас одолеть?», а бабушка кормила Жаркова, обихаживала. Она соорудила ему сенник, принесла старое покрывало. Начались заморозки, но он не мерз.

— А може у лазню помытыся? — спросила однажды бабушка Христя.

От одного этого вопроса у Жаркова замерло сердце, но он тотчас вспомнил о знамени.

— Пока рановато, — деликатно отказался он.

— Та воши заведутся ж.

— Пока еще рано... Ее — рану, значит, заразить можно.

Чтобы смягчить разговор, он попросил бабушку:

— Вы лучше спойте. Ту, про «вяночек».

Бабушка не заставила себя упрашивать, села поудобнее, подтянула концы платка и, глядя куда-то в дальний угол, запела негромко:

Катился вяночек с поля
Допросился ён до покоя...

В этот миг послышались торопливые шаги и вспугнули песню.

ТРЕВОГА

Еще не показалась голова над лазом, а уже послышался знакомый голос:

— Дядько красноармеец...

— Ну, чóго сокатишь? Чóго молотишь, — прицыкнула бабушка Христя.

Андрейка на мгновение смешался, но все-таки не удержался, выпалил:

— Михась прибег... Он утек... Вдогонку стреляли.

— Господи Исусе, — перекрестилась бабушка и поспешила вниз, к дому.

А Жарков тем временем расспрашивал Андрейку:

— Кто этот Михась?

— Вин родич.

— Чей?
— Та тетки Дарьи.
— Откуда он прибежал?
— С хутора.
Появился Власик.
— Успел, — протянул он недовольно, разглядев Андрейку, и смахнул за ухом невидимого комара.
Он более спокойно и обстоятельно доложил, в чем дело.
Выяснилось, что в Пяльцах появились немцы. Они хватают скотину, кур, а заодно и подростков. Один из них — вот этот самый Михейка — сбежал.
— Вы вот что, ребята, — сказал Жарков, — вы меня красноармейцем, да еще на всю деревню — не называйте. Это секрет.
Мальчишки переглянулись. И опять Власик осмелился первым.
— Та все тутешние вас видели.
— Правда, — подтвердил Андрейка. — Когда в беспамятстве были, все село толклось.
— И жратва... — добавил Власик. — Всеобщая...
Жарков долго молчал, осмысливая свое положение. Теперь его судьба зависит от многих людей. «Не подведут ли они? Не найдется ли среди них такого... ненадежного? А кроме всего, они ж берут на себя ответственность. Ведь за укрытие...»
— Вот что еще, — прервал он свои невеселые размышления. — Не надо шуметь. Разведчик действует тихо. И докладывать нужно сперва о главном. А то — Михась, Михась. Немцы — вот главное. Найдите-ка деда Федора.
Мальчишки ушли. А Жарков почувствовал боль в ноге.
«Странно, — подумал он. — В последнее время она почти не болела. Это я нервничаю, вот что».
Нервничал он потому, что ко всем его прошлым переживаниям прибавилось новое, неожиданное и острое, как внезапная боль. Оказывается, о его пребывании здесь знает вся деревня. Значит, кто-то может выдать его, даже ненарочно, просто проговориться. А помимо того, его могут найти. Тогда пострадают невинные люди, вся деревня. Жарков видел такую деревню. Ее сожгли за укрытие раненого командира.
— Вот положение, — прошептал он.
Самое грустное и обидное было в том, что он беспомощен. Двигаться не может. Очень слаб. А дело к холодам. Куда податься? Как быть?
Мелькнула мысль: «А может, знамя спрятать, зарыть, а самому... Что это я, — одернул он сам себя. — Это ж особое задание, и я должен его выполнить. Это приказ. Пока я живу — живет и знамя. Живет часть наша. — Жарков приободрился. — Нечего пороть горячку. Вот придет дед, что-нибудь придумаем... Конечно же, надо все сделать, чтобы никто из людей не пострадал. Это непременно...».
Появился дед Федор, почесал в бороде, подсел к Жаркову.
— Как там, дедушка, обстановка?
— Она, конечно, имеется.
— А точнее?
— Та вин сбежал... Та хлопец мой, Михась.
— А все же?
— Ну, говорит, германцы. А сколько? Та еще полицаи зъявились. О це — зараза.

— Сколько от Пяльцев до вас ходу?

Дед почесал в затылке.

— Хиба ж я знаю... Може, пять, може, шесть та еще с гаком... Да у нас воны не будуть!

— Это почему же?

— Не будуть, — повторил деде. — Шляхив нема.

— А на конях?

— Верхом? — переспросил дед. — Верхом они не можуть. Через лес ведь. Они народных мстителей боятся.

Жарков замолчал, взвешивая ответы деда в уме.

— Ну а если... Тогда вы ж понимаете что?

— Разумию, не вчера народился.

— А если кто-нибудь?

— Та ни-и... У нас в селе таких нема.

Жарков не решился до конца высказывать своих опасений, боясь перепугать деда, и все же сказал:

— Боюсь я. Могут невинные люди из-за меня пострадать.

— Та могуть, — согласился дед. — Ты ж вон пострадал.

— Я — боец.

— О-о, — протянул дед. — Яка свара иде. Германцы против нас.

Жарков поразился мудрости деда, в душе проникся к нему такой симпатией, что на секунду у него даже появилась мысль открыться. Но он тут же отогнал ее.

Неожиданно дед хихикнул (точь-в-точь как Андрейка):

— Та бабка... Укрытие ладит... В лазни... То исть в бане. Вдруг еще хто попариться вздумает?

— Я не знаю, — сказал Жарков, не очень поняв слова деда, потому что думал совсем о другом, о главном: как же все-таки поступить, чтобы невинные из-за него не пострадали?

— Дело к зиме, то и добре, — повторил дед.

— А нигде нет никакой хибары, — прервал Жарков. — Ну, избенки, амбара?

— Чего? — не понял дед.

— Ну, чтоб я там обитал, чтобы деревня ни при чем. Забрался, мол, а мы ничего не знаем.

— Тю-ю, — протянул дед. — Ты ж ходыты не можешь.

— Ну, заполз бы.

— А жратва?

Жарков замолчал. Все его предложения легко опровергались простыми доводами деда.

— Что же нам делать?

— Та ничого... В лазни добре, та и топыты можно.

— А если...

— Та ни-и... Дорог нема...

Снова Жаркову нужно было принимать важное решение. Важное не только потому, что оно касалось его жизни и знамени полка, но и других людей.

— Сколько от вас до леса?

— Та ни сколько. Огороды тай и лес.

— Необходимо наблюдать за дорогой.

— Та чого за нею наблюдать? Вот она.

Жарков собрался с силами и произнес как можно строже:

— Это приказ.

— Колы наказ, — согласился дед, но в голосе его Жарков уловил несерьезную нотку.

— Вы ж, наверное, были в армии... Знаете, что такое приказ.

— Та ни-и, — протянул дед. — Хворый я.

— Ну, все равно.

— Та добре. Молчи. Ты ж вспотел...

С этого дня Жарков потерял покой. Не то чтобы он волновался или боялся, но тревожился, ожидал плохого, что могло произойти, хотя пока и не происходило.

Он велел деду принести автомат. Проверил, разобрал и почистил его. Заодно почистил и пистолет. Попросил переложить себя так, чтобы лаз был бы виден, а он укрыт от взглядов. Ему предлагали перейти в баньку, но он отказался, говорил, что привык к сеновалу, на котором пока тепло.

Он всякий раз дотошно расспрашивал ребятишек и деда Федора обо всем, что происходит в деревне и вокруг нее. Каждый раз при его словах «доложите обстановку» мальчишки робели, а дед долго откашливался. Официальные слова явно смущали их, штатских людей.

Ночами подмораживало. Жарков зяб, но скрывал это от бабушки Христи. Она и сама все понимала.

— Ну и впертый, — ворчала она незлобно и приносила ему «для сугрева» то старую шубейку, то старый шерстяной платок. — Ну, чого ты? В лазни наикрайше.

— Воздух, бабушка. Сено, — врал Жарков.

Он мечтал встать на ноги. Ну, если не подняться, то хотя бы сесть, двигаться свободно. Нога теперь остро не болела, но и не давала ему полного покоя, вечно напоминала о себе. Повернулся не так — больно, дернулся ночью — проснулся, забылся на мгновение, хотел привстать — остановила, будто пригрозила: вот я тебя!

Он часто просыпался среди ночи и думал. Теперь уже приходили к нему не призраки, а живые воспоминания и образы товарищей, боевых командиров, отдаленные, будто из чужой жизни — родных, друзей. Детства и юности. Воспоминания эти касались жизни и войны, они будили в нем добрые чувства. Пусть война была трагедией, складывалась для нас пока неудачно, пусть они отступали, даже попали в окружение — все равно вспоминалось такое, что вызывало надежду, желание подражать мужественным и храбрым людям, их смелым поступкам. Почти все они твердо верили в нашу победу (кто не верил — не вспоминался Жаркову). Вот представилось вдруг, как они вели бой под Витебском за энскую высотку с двумя березами без верхушек. Во время атаки фашистов наш пулемет замолчал. Туда бросился сам комбат капитан Дронин. А потом Жарков видел, как комбата оттаскивали к дальнему лесу. Он был без обеих ног, о них напоминали солдатские ремни, перетягивающие культышки. Выяснилось, что во время боя ему оторвало ноги, но он все-таки стрелял.

Вспомнился комиссар с одним ромбом. Он лежал на носилках и медленно произносил: «Кутузов тоже отступал. Москву сдал. А потом русские в Париж вошли».

Вспомнился отделенный со странной фамилией Лестница — здоровенный мужик, почти двухметрового роста. Он убеждал: «У хрицев хфорсу много, а структура слаба. Вот побачите, як воны зимой

потикают». Погиб отделенный в окружении. Подорвался гранатой и фашистов подорвал.

Однажды Жарков проснулся вроде бы от холода, на самом деле от холодных мыслей. Сразу не мог вспомнить. Лежал с открытыми глазами. Над головой что-то блестело. Вначале подумал: светляк, но свет был слишком яркий и режущий. Потом догадался: звездочка (и тотчас вспомнил звездочку над полем последнего боя). Но почему она вдруг появилась? Раньше он не видел звезд над собой, крыша была плотная, не протекала, не просвечивала.

«Меня ж перенесли на новое место, — объяснил он себе. — Я ж настоял, чтобы перенести».

И тут он вспомнил мысль, от которой проснулся:

«Да, да. Как же я буду вести бой, если мне нельзя стрелять? Люди ж пострадают. Вся деревня. Мне надо не стрелять, а прятаться, чтобы меня не обнаружили... Мне необходимо сохранить знамя и... людей...».

Он лежал не шевелясь, пораженный этой мыслью, перечеркнувшей сразу все его приготовления к встрече с врагом. Планы рушились. Нужно было принять новое решение... «Не гони картину, но и не тяни резину, — вспомнил он совет старшины Дробота. — Принял решение — действуй смело и решительно. Будешь чикаться — тебя чикнут».

Жарков уже не заснул до утра, до прихода бабушки Христи.

Когда она появилась и, привыкая к полумраку, стала медленно и осторожно приближаться к нему, Жарков не выдержал:

— Да не сплю я, баушка.

— А что так?

— Да замерз нынче.

— От казала, так ни.

— Да, придется переходить, — торопливо согласился Жарков.

Он успел все обдумать, составить новый план: в бане можно лучше укрыться, дальше от жилья, не так часто ходят...

— То добре, — одобрила бабушка Христя. — Тильки вечером. А пока поснидай бульбою, поки не остыла.

Приходили мальчишки с деревенскими новостями. Приходил дед Федор с практическими вопросами.

— Такой вопрос: як тебе перетягти?

— Куда тягать? — не понял Жарков.

— Та в лазню.

Жарков не знал, что ответить. Он не помнил, как его сюда затащили.

Старик хихикнул своим добродушным старческим смешком, потеребил бороду, точно из нее доставал слова.

— Воно як було... Мы тебе як теля на ремнях поднималы... А то як же? Можно бы на руках, та вона... — Он прервал воспоминания, словно устыдился их, перешел на деловой тон: — Треба до Ковунихи иты, драбину, то исть лестницу просить.

— Зачем? — опять не понял Жарков.

— Тю-ю, — протянул дед. — А то як же?.. Мы тебя в рагожу та ремнями к той лесенке. Тай понесемо.

Жарков почувствовал бесконечную благодарность к этому старику, который столько для него делает, понимая, что он рискует всем — родными, домом, жизнью.

— А в бане-то как? — спросил Жарков после длинной паузы.

— Бабка все помыла, почистила.

Старик ушел, а Жарков долго лежал неподвижно, грызя соломинку и поглядывая на узкую щель над головой. Свету сегодня проникало мало. Вероятно, стоял пасмурный денек. Небо прикрыли тучи.

НОВОСЕЛЬЕ

Переселение и «попутное» мытье в бане не прошло даром. Нога вновь заболела. Два дня она успокаивалась, привыкала к новому месту. Потом неделю привыкал Жарков. По сравнению с сеновалом, в бане было темно и душно. Пахло сыростью, прелым листом и еще чем-то непривычным, банным. Свет просачивался сбоку, из узенького оконца. Над головою были полки и лавки, на которых в банный день сидели и парились люди. Гнездо, или «лежбище», как сказала бабушка Христя, она устроила уютно и мягко: настелила соломы, ковриков, тряпок, под голову — шубенку, сверху — старый полушубок. Но все это не грело Жаркова. Он не мерз, но чувствовал себя неуютно, непривычно, зябко. Постоянная осклизлость кругом вызывала у него брезгливость, темнота над головой удручала, а солома раздражала. Сено там, на сеновале, приятно шуршало, оно еще сохраняло запах травы, и порой ему представлялось, что лежит он в чистом поле, среди высоких трав, а от соломы несло какой-то пылью и прелостью, видно, она уже успела вобрать в себя запахи бани. А тут еще мокрицы. Жарков поначалу не разглядел их, а после глаза привыкли, и он увидел, как они ползают над ним по осклизлым доскам. И еще здесь было скучнее. Приходили к нему реже, в основном в темноте. Он не видел целиком лиц, а только глаз, щеку, ухо. И отделяли его от людей доски. Правда, бабушка как-то умудрилась, отодвигала доску, кормила его. Но все это в темноте, на расстоянии, все это отдаленно. При таком кормлении пища казалась невкусной, кусок застревал в горле.

Жарков, однако, виду не показывал, привыкал молча, понимая, что другого выхода нет. Его боевая задача: все вытерпеть, все вынести, спасти знамя.

«Значит, нужно что-то придумать, чем-то отвлечь, подбодрить себя».

И Жарков нашел занятие. Он начал мысленно рисовать картину своего участия в этой войне. Как ни странно, это оказалось не таким простым делом. Ускользали не только детали, мелочи, но и крупные события, люди, важные факты. Они куда-то проваливались, как будто их и не было, хотя на самом деле — он знал — были. Удивительно, что память сохраняла какую-нибудь ерунду, пустячок, ничего не значащий случай, а вот решающий момент, интересного человека — утаивала. Жарков вспомнил, например, татарина-красноармейца. Он ел сливочное масло полной ложкой. Одно масло без всего, без хлеба. И выражение у него было довольное, будто не на войну ехал, а на свадьбу. Было это где-то под Казанью. Татарин сидел в теплушке соседнего эшелона, свесив босые ноги из вагона.

А вот того, как он сам, Жарков, ехал до фронта, вернее, до станции назначения, — память не сохранила. Ну, ехал и ехал. И все. Никаких подробностей. А ведь прошло всего несколько месяцев. Жаркова даже в пот бросило. Ему казалось, что он прожил целую жизнь, точнее, две жизни: ту, довоенную — светлую и безоблачную, и эту, военную —

страшную, наполненную такими событиями, о которых он только в книгах читал, где иной час, даже минута — равна всей жизни.

Жарков сосредоточился, попытался представить свой военный календарь. Его призвали на десятый день войны. И еще через неделю после этого он очутился в первом бою под Витебском. А еще через сорок дней они попали в окружение и вот его ранило...

«Невелик стаж», — заключил Жарков, но тотчас вспомнил некоторых своих товарищей, погибших в первом же бою или выбывших по ранению еще раньше его.

Вдруг перед ним вспыхнули известные, как лозунг, слова: «Воевать будем малой кровью... Воевать будем на чужой территории». Но то, что он лично видел за короткий срок своего пребывания на войне, никак не соответствовало этим лозунгам. Воевали они не малой кровью и уж, во всяком случае, не на чужой территории.

«Не сметь! Не сметь! — закричал он на себя, краснея от той мгновенной мысли, не то что недоверия, но сомнения, которая почти механически пришла к нему. — Это временно. Это пройдет. Это все потому, что на нас напали вероломно».

Жарков был воспитан в духе преданности и абсолютного доверия правительству и партии. Вот почему мгновенная мысль показалась ему кощунственной и на целый день вывела из себя. Жарков вздыхал, покашливал, иногда стонал, но не оттого, что болела нога, а оттого, что болела душа.

«Как же я? — И тут он просунул руку под гимнастерку и ощутил мягкость бархата.— Вот же оно. Вот. И я все сделаю, чтобы спасти его».

Эта мысль как бы реабилитировала его перед собой, и он успокоился.

На следующее утро, как только, накормив его, ушла бабушка Христя, Жарков закрыл глаза и неторопливо попытался восстановить события. И опять все рассыпалось и расплывалось в его памяти.

Он отлично помнит, как они всем классом пошли в военкомат, а там очередища. Помнит, как они искренне, чуть не до слез огорчились. Им не терпелось. Они хотели успеть.

«Теперь все успеют,— подумал Жарков и снова хотел рассердиться на себя, но вовремя утешил: — Я же ничего. Раз так получилось. Это ж не от меня зависит».

Война будто переключила жизнь на другую скорость — с перегрузками. Сами события развертывались так быстро, что их трудно было упомнить. Каждый день — новость: того-то призвали, тот собирается, того-то не берут. На третий день войны Жарковы провожали старшего сына — Андрея. Он был старше Мити на семь лет, уже отслужил действительную, собирался жениться. Он всегда держался с Митей, как с неровней себе, как с мальчишкой, а тут посадил рядом с собой за стол и все пытался поговорить, да не мог выбрать момента. Надо было выслушивать прощальные слова и наказы многочисленной родни, дружков и товарищей. А вдобавок еще невеста Люська все платок к глазам подносила и Андрею приходилось утешать ее. Наконец, когда все уже достаточно выпили, начали петь песни, Андрей осторожно отстранил Люську, положил тяжелую руку на Митино плечо: «Вот что, братуха,— он всегда говорил медленно, как бы подбирая слова, а на этот раз высказал все на одном дыхании, будто заранее подготовился говорить.— Терпи. Не высовывайся. И к землице, вглубь, вглубь. Она для нашего брата-солдата — спасение».

Тогда для Мити показались эти слова по меньшей мере неуместными, а вот сейчас он понял их мудрый смысл. По существу, это была суть солдатского поведения на войне, свой узкий, личный, что ли, моральный кодекс, и устав, и руководство к действию. И старшина Дробот за короткий срок их обучения тоже твердил: «Окапывайся, используй местность. Не суйся без толку. Не хнычь — ты не хрыч, а молодой человек нашего времени».

Еще Жаркову запал в память такой, потрясший его момент. Они с Андреем выпили, и ему сделалось плохо, до той поры он не пил водки. Он выскочил во двор и тут услышал странные звуки. Они доносились от сарайчика, где у них дрова хранились. Кто-то подвывал, переставал и опять подвывал.

Митя осторожно приоткрыл дверцу и отшатнулся. У поленницы, к нему спиной, стоял отец, и плечи у него дрожали.

— Ты чего, папа? — участливо спросил Дмитрий.

Отец не устыдился своих слез, не утер их, а повернулся и обхватил сына за плечи.

— Ты еще не знаешь, что такое война. Не знаешь, а я всю гражданскую...

— Да ну,— только и произнес Дмитрий, сдерживая себя и боясь обидеть отца.

В его тогдашнем понимании все это — грусть, слезы — выглядело странным и непонятным. «Чего они? — недоумевал тогда Дмитрий.— Это ж быстро. Мы раздолбаем фашистов и вернемся. Вот только бы успеть...» Именно успеть — эта тревожная мысль занимала его в те дни больше всего.

«Дурак был»,— вздохнул Жарков и прислушался к присвистыванию ветра на улице. Толстые бревна, из каких была сложена баня, ветер не пропускали. Щели были хорошо законопачены. И только в двери и оконце просачивался воздух. Если приглядеться, можно было даже увидеть тоненькие сизые струйки.

— Ну, чего я? — вслух произнес Жарков, недовольный собой за то, что отвлекся от воспоминаний, которые, вроде бы, стали появляться более-менее отчетливо.

Отец плакал и на его проводах. А вот мама — нет. Лишь очень побледнела.

Жарков ясно представил, как она стоит у теплушки и как вокруг нее само собой образуется тихое пространство. И многие парни, особенно из тех, кого никто не провожает, говорят ей душевно: «До свидания, мамаша».

Отходящий состав догнала Линка. Она передала ему через руки других ребят букет полевых цветов и в нем записку.

«Жду с победой,— писала Линка. — Устроилась на курсы медсестер. Жди на фронте... Митенька, возвращайся».

Он представил Линку: точеная фигурка, вздернутый носик и глаза с вечной улыбочкой в глубине.

Жарков одернул себя: «Опять перебил. Опять всю картину спутал».

Но дело в том, что картины не было. Шли отдельные куски, приходящие на память один раньше другого. Последовательность нарушалась, и это затрудняло восстановление. И как ни силился Жарков, как ни напрягался, он ничего не мог поделать. Вот ясно представил трагикомический эпизод. Они в карантине, и одновременно старшина Дробот их

обучает военному делу, командует: «Бегом!.. Ложись!» Прошел дождь. Земля грязная. Несколько человек задерживаются, среди них и Жарков. «В чем дело? — возмущается старшина. — Вы убиты». Вечером он представил «убитых» перед строем, и над ними несколько дней потешались товарищи. Особенно резвился Костя Зонин. А его убили в первом же бою, точнее, при первой бомбежке. Это было еще в эшелоне. Их, окончивших школу, думали направить в училище. Даже списки составляли. И вдруг подняли среди ночи и повели к станции.

После бомбежки осталось человек двести. Их придали какой-то пехотной части, идущей под Витебск.

Тут полная неразбериха в памяти. Бомбежка. Взрывы. Стоны. Огонь. Команды. Суета. Предутренняя дрема в энском лесочке. И команда: «Становись!» Они куда-то шли без отдыха, пока не свалились. Жарков не стал есть, уснул сидя. Он помнит этот сон, потому что ему снился дом. Бабушка кормит его блинами. И только он поднес блин ко рту, крик: «Подъем!» А дальше ночной бросок. Новый лес. Раненый комиссар с ромбом в петлице, его негромкие слова о Кутузове...

Жарков хорошо запомнил свой первый выстрел по врагу, вернее, в сторону врага.

Когда после многих изнуряющих переходов, бросков, маршей они остановились в очередном лесочке, им приказали окапываться. И они всю ночь рыли землю. Под утро приходило какое-то начальство, проверило позиции, осталось недовольным. Их заставили копать глубже.

Жарков с нетерпением ждал рассвета. Ему хотелось разглядеть место своего первого боя. Он рассчитывал увидеть фашистские танки, цепи солдат в зеленых мундирах, колонну мотоциклистов, которых он будет сбивать, как изоляторы со столба. То, что он обнаружил при свете, разочаровало его. Перед ним лежало небольшое поле, покрытое неубранной пшеницей. Над полем поднимался легкий парок. Никаких фашистов не было видно. Звенел одинокий жаворонок. И утро обещало погожий день: небо чистое, без единой тучки.

Жарков покосился на товарищей, желая найти поддержку своему разочарованию, и тут услышал: «Пошли. Видать. Видать».

В дальнем лесу загудело, и появился столб пыли, похожий на легкий дымок. Больше ничего не было видно.

— Приготовиться,— раздался голос старшины.

Жарков щелкнул затвором, приложил приклад к плечу и подумал: «Но цели не видно и дальность большая».

Он был «Ворошиловским стрелком», еще в школе участвовал в соревнованиях. Он помнил слова учителя по военному делу: «Не торопись. Не дергай. Стреляй наверняка». А тут...

— Огонь!

Жарков не выстрелил.

— Ты чего? — заорал старшина.— Баптист, что ли?!

— Так не видно,— не оборачиваясь, объяснил Жарков.

— Без рассуждений. Стреляй!

И Жарков нажал на спуск... До сих пор ему неприятно за этот бесцельный выстрел. Позже, когда судьба свела их поближе, они объяснились со старшиной Дроботом. «Я же не знал, что ты нормально стреляешь,— говорил он Жаркову. — Я ж думал — трусишь. И команда была для обстрела, чтоб привыкли к стрельбе. Вы ж впервые в боевых условиях были».— «Все так,— соглашался Жарков.— Но пулю жалко.

Стрелять по цели надо». После, в дальнейших боях, старшина не раз подзывал его к себе: «Вот дай-ка по тому кусточку, чтобы не высовывались, чтоб ползали, значит, гады».

И политруку, для этого последнего прорыва, именно он, старшина Дробот, рекомендовал Жаркова: «Стреляет нормально». Политрук проверил Жаркова и самолично вручил «дегтяря».

МАЙКА

Резко похолодало. Жарков почувствовал это однажды ночью: проснулся от озноба. Вначале подумал: «Опять температура». Пощупал лоб — холодный. Он натянул на себя все, что было под руками, надел шапку — не мог согреться. Так и не уснул до самого утра, до прихода бабушки Христи.

— Баушка,— первым делом сказал Жарков.— Холодно стало.

— О, то-то,— отозвалась бабушка, будто он спорил с нею.— Потерпи трохи.

Баню начали протапливать два раза в сутки: с утра и на ночь. Камень имел одно странное качество: он быстро нагревался и быстро остывал. Жарков то потел, то снова чувствовал холод.

— Тю-ю,— протянул Федор, просунув руку через доски, чтобы дотронуться до головы Жаркова.— То не добре. Так хворобу накликаем.

Он кинулся было в предбанник, но вдруг остановился, наклонился к Жаркову так, что бороденка просунулась меж щелей.

— Хочу тебя спросить?

— Спрашивайте.

— А шо це за материя, яку ты на себе накрутил?

— Для тепла... Скатерть,— после паузы ответил Жарков и тут же добавил: — Только, дед, смотри... храни военную тайну.

— То да, то да,— пообещал дед и теперь уже решительно отправился в предбанник.

Топить стали поменьше, но чаще. Однако перепады температуры не исчезли.

Возня с банькой, разумеется, привлекла внимание не только соседей, но и всей деревни.

Люди интересовались, спрашивали Арабеев: чего это они так часто баню топят? Бабка, дед, Андрейка отговаривались как могли. Вскоре вопросы прекратились. Люди догадались, в чем дело. Все знали: Арабеи прячут нашего красноармейца. Все сочувствовали этому. Пожалуй, лишь один человек не знал о секрете. Это была чужая, пришлая девчонка, появившаяся в деревне с лета, еще до начала войны. Обстоятельств ее прихода никто толком не знал, да и не очень интересовались ими. Пришла и пришла. Такое и раньше бывало. Лесуха хоть и затерявшаяся в лесах деревушка, но не такая уж глухая. Бывали здесь посторонние люди: лесники, объездчики, охотники.

Пригрела девчонку все та же тетка Дарья. Будто бы сродственница дальняя, будто бы родни знакомая, а может, и просто так.

Девчонка была русская, городская, приветливая, обходительная, со всеми здоровалась, разговаривала, знала стихи и песни, книжки читала (несколько штук с собой притащила), вот только деревенской работы не

знала. Но от нее не отлынивала и вскоре обучилась ей. Воду носила. Белье стирала. Поначалу в коровнике убирала. Но при первом же заходе фрицы увели у тетки Дарьи корову — ухаживать не за кем стало. Разве что куры да боровок-полугодок.

Хоть девчонка была и русская, всех удивляло ее имя: Майка.

— Як це так?— переспрашивали люди.— Це ж одежа?

Майка не обижалась, а терпеливо объясняла: есть такое имя. И она вот уже семнадцатый год Майка. Люди не то что не поверили ее объяснениям — привыкли.

— Та нехай. Хай хоть горшком назовуть, абы в пичь не совали.

Девчонка была приятная, веселая, кареглазая, смеялась звонко. Придет в избу, посмеется, расскажет что или почитает. Уйдет, а голосок останется, звенит в ушах...

Майка и по внешнему виду отличалась от деревенских: тонкая, гибкая, ну как лозиночка. Привыкли к ней люди и полюбили, но поскольку она все-таки посторонняя и молоденькая еще — не доверяли ей главную тайну. А именно, что в деревне прячут раненого красноармейца.

Майка в свободное время ходила по избам. Ей всегда были рады. На этот раз Майка очутилась в арабеевской бане. Как и почему это произошло, разговор особый. Только вошла она, и Жарков затаился, почувствовал чужие шаги.

Вошедшая тотчас принялась растоплять печку. (Дрова для удобства лежали в предбаннике.)

По ее смешку, по первым легким шагам Жарков догадался: появилась девчонка. Но почему она здесь? Кто она? Чья она? Зачем растапливает баню, если ее с утра уже протапливали? И как же ее впустили сюда и еще в дневное время? Ответов он не находил, а разъяснить ситуацию некому было. Жаркову оставалось наблюдать за непрошеной посетительницей.

Девчонка, как ни в чем не бывало, подбрасывала дровишки в печку, наливала в котел для подогрева воду, напевала шутливую песенку:

Эх, зачем я тебя полюбила,
Жар безумный в груди затая...

Жарков видел то ее ноги, то часть руки, то гибкую спину, но ни разу не уловил лица.

Девчонка шмыгнула в предбанник, и через минуту-другую перед Жарковым блеснуло белое тело. Оно резануло его по глазам, как острый луч света. Стыд, неловкость и смущение охватили его. Он попробовал зажмуриться, не смотреть на девчонку, но глаза сами собой раскрывались...

«Еще хорошо, что она не парится»,— подумал Жарков, и в этот миг, точно его мысль каким-то образом дошла до нее, девчонка плеснула из ковшика на горячие камни. Камни зашипели. Жарков закашлялся.

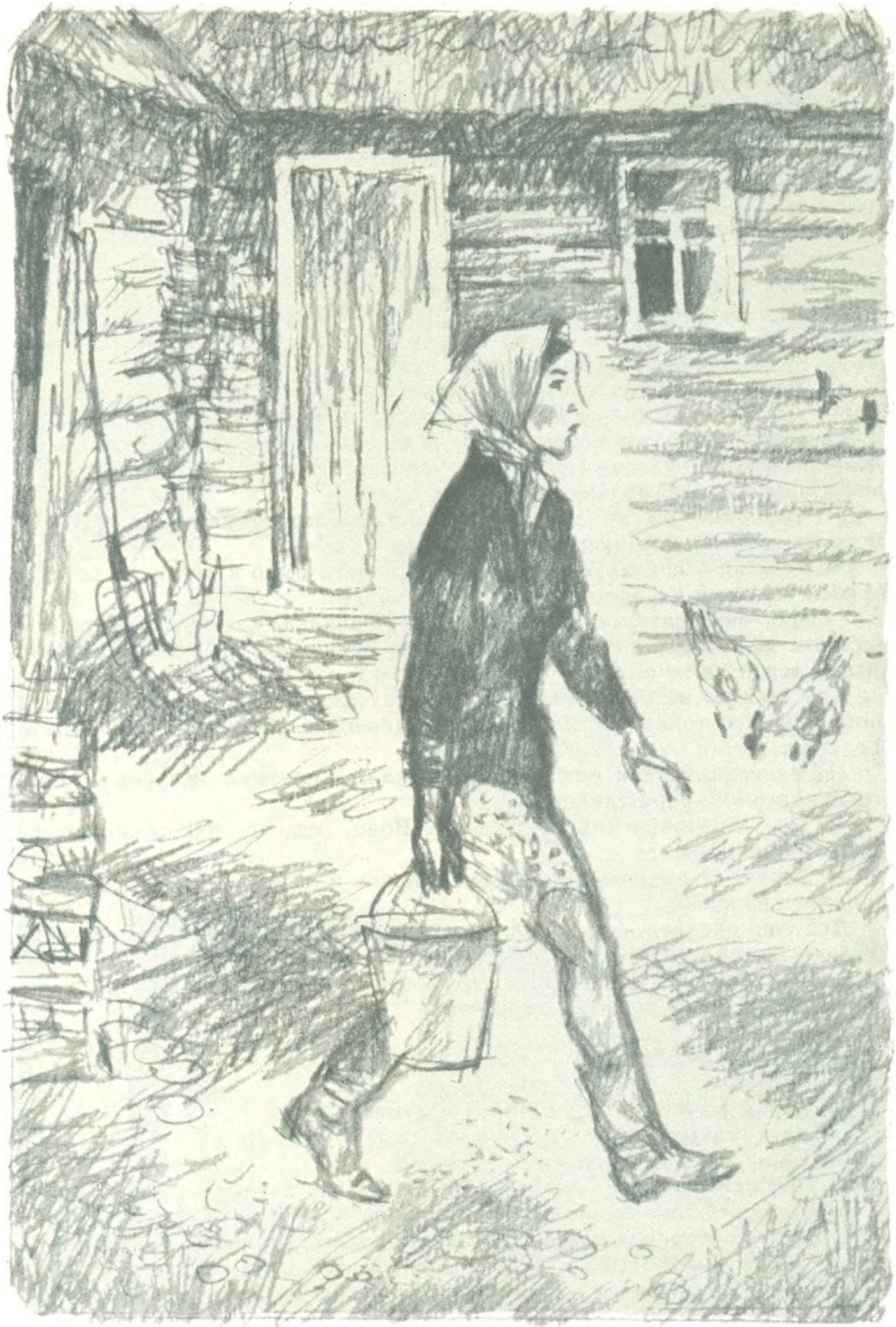
— Ой! — воскликнула девчонка.— Кто тут?

— Свои,— ответил Жарков срывающимся голосом.

— Ой-ой! — заорала девчонка и выбежала из бани.

Через мгновение ее испуганный крик разнесся по улице. Жарков через толстые стены слышал его. Неожиданно крик оборвался. Он различил приближающиеся шаги. В предбаннике громко говорили. Бабушка и девчонка. (Она, вероятно, одевалась.)

— Ну, баламутка.



— Ну, я ж у вас спрашивала. Помните?
— Так це ж колы було?
— Но я ж не знала.
— О, це велыка тайна.
— Ну, бабуся...
В предбаннике долго препирались. Наконец скрипнула дверь.
— Митяй, ты жив? — ласково спросила бабушка, наклоняясь под полком.
— Нормально. Только жарковато.
— Та це ж баламутка вдруг мыться захотела.
— Она ж не знала,— сказал Жарков и осекся. Получалось, что он защищает девчонку.
— А шо теперь робыты? — вздохнула бабушка, не улавливая его осечки.
За Жаркова торопливо ответила девчонка:
— Но я ж комсомолка. Мне вполне доверять можно. Я бы тоже на фронт пошла, если бы не так получилось, ну, если бы не у тети...
Она уже пришла в себя, вполне освоилась и даже присела у полка. Жарков впервые увидел ее лицо — худенькое, как у девочки, а глаза горят и завиток над бровью.
— Товарищ, вы не думайте. Мне скоро семнадцать... в феврале. Я умею хранить военную тайну.
— Охо-хо,— вздохнула бабушка и шагнула было к двери, но остановилась, позвала:— Пошли отсюда! Ну, пошли!
— Я к вам еще зайду,— пообещала девчонка, как будто Жарков и в самом деле жаждал новой встречи, во всяком случае, она, очевидно, была уверена в этом.
Как бы там ни было, Майка стала заходить к Жаркову. Настоящее знакомство состоялось в тот же вечер. Девчонка пришла вместе с дедом Федором.
«Представляю, как она ему надоедала, — подумал Жарков.— Весь день, наверное, упрашивала».
— Ну, Митрий,— хихикнул дед.— Воно, это, ну як, пошпарився? Добре пошпарився?
— Ничего. Прошло,— отозвался Жарков и подумал, что он опять защищает девчонку.
Дед еще посидел, поговорил, спросил: «Може, надо чóго?» — и ушел. Девчонка осталась. Жарков чувствовал ее присутствие, хотя она и молчала. Он собирался подбодрить ее, но она заговорила первой.
— Вы на меня не очень сердитесь?
— Совсем не сержусь.
— Я ж не думала...
— Все ясно.
— Я вам хочу быть полезной. Не думайте...
— Не думаю.
Разговор явно не клеился.
— Вас как зовут? — спросил Жарков после паузы.
— Майкой. Есть такое имя...
— Знаю,— прервал Жарков, хотя сам подумал о Линке, а девочек по имени Майя он не знал. — А меня — Митей... Дмитрием, — поправился он и подумал, что еще ни разу в жизни он не представлялся девочкам.

— Нет,— возразила Майка,— так я не могу. Вы боец Красной Армии... Вы кровь за родину проливали...

— Ну так что? — не понял Жарков.

— Не могу я вас по имени,— повторила Майка,— потому что вы и я...

Сговорились на том, что она будет называть его «товарищ Жарков». Она так яро настаивала, что ему пришлось согласиться на такое обращение.

Жарков поймал себя на мысли: он не хочет, чтобы эта девчонка уходила. Впервые за многие недели своего отшельничества он почувствовал в ней не то чтобы ровню, но что-то сходное, напоминавшее школу, Линку. Она и говорила без местных словечек, и вообще, он уловил в ней своего человека.

— Вы как же тут очутились? — поспешно спросил Жарков.

— Ну да, очутилась,— подтвердила Майка, будто заранее соглашаясь с его удивлением.— Тетя у меня в Пяльцах. Я у нее и в прошлом году отдыхала. Там хорошо. Воздух. Лес. Речка. Грибов и ягод много. Я на три килограмма поправилась. И нынче, как только учебу кончила, мама говорит: «Поезжай. Перед экзаменами надо сил набраться». Мне на будущий год — выпускные... — она запнулась.

Жарков понял ее. «Что-то будет на будущий год?» — подумал он.

— А как вы думаете, товарищ Жарков, когда война кончится? Немцы хвастаются, что к Москве подошли. Но я не верю.

— Точно, не верь,— подтвердил Жарков.— Все ведь потому, что мы верили. А фашистам нельзя верить.

— Да, да,— согласилась Майка.— И еще они грабят... У тети корову увели вместе с теленочком.— Она на мгновение замялась, решая, говорить ли дальше, но все-таки досказала:— И на меня стали плохо смотреть. Тогда тетя и посоветовала сюда перебраться.

Появилась бабушка Христя, принесла ужин.

— Ну, дивчина,— осуждающе произнесла она.— Он же хворый.

— Ничего,— вновь заступился за Майку Жарков.

Наступило время, когда он стал ждать встреч с нею. Только с этой девчонкой он отводил душу, как бы возвращался к довоенной счастливой жизни. Одно его тревожило: настойчивые просьбы Майки.

— Товарищ Жарков, вы все-таки должны посоветовать, как мне быть? Я комсомолка и не могу быть в стороне от борьбы с проклятым фашизмом.

Жаркова немножко смешили ее столь официальные слова, но он понимал девушку и потому отвечал серьезно:

— Правильно.— Он вспомнил, как они еще в четырнадцать лет рвались в Испанию.— Но что можно сделать в этих условиях? Что ты можешь?

— У меня значок ГСО,— живо ответила Майка.— Я и стрелять умею. Правда, нормы еще не сдала... Проболела.

— А в кого стрелять в этой Лесухе? — спросил Жарков, ощущая смущение и некоторую гордость от того, что он впервые в жизни советует.

Майка понизила голос:

— А говорят, в лесу партизаны. Дедушка Федор их народными мстителями зовет. Я взрывы слышала.

Жарков хотел усмехнуться словам Майки, усомниться в них, но тут

вспомнил взрыв, что подхлестнул его к действиям там, в лесу, в те тяжелые минуты.

— А это точно? — спросил Жарков.— Об этом можно узнать?

— Как? — встрепенулась Майка.

— Осторожно... А как — я не знаю. Я же и деревни не видел.

— Я в Пяльцы схожу,— предложила Майка.

— Через лес?

— А я не боюсь. Не думайте.

Жарков молчал. В словах девчонки для него блеснула надежда. Партизаны — это как раз то, что ему нужно. Только с помощью их он может попасть к своим, то есть спасти знамя. Жарков на минуту замер от вспыхнувшей надежды.

— Вот что,— сказал он как можно спокойнее, — я деда Федора попрошу.

— Но я же...— возмутилась Майка.

— Слушать меня,— прервал Жарков.— Поспешность (он чуть не сказал так, как говаривал старшина Дробот: «Поспешность нужна при ловле блох») нам ни к чему. Ни к чему,— повторил он.— Так будет лучше. Сперва дед Федор, ну а потом... потом, если потребуется, поедешь ты... Для более сложного задания,— добавил он.

Добавление успокоило Майку. Но с этого момента не стало покоя ни Жаркову, ни деду Федору. Жаркова от Майки отбивала бабушка Христя. А дед Федор сам прятался от девчонки.

— От баламутка,—жаловался он Жаркову и хихикал добродушно.— Ну, як я поиду, колы ще снигу нема, колы ще и коня нема.

В очередной приход Майка огорошила Жаркова.

— А где оружие?!

— Какое? — растерялся Жарков.

— Ну, товарищ Жарков, при вас же было оружие. Оно лежит, а могло бы стрелять по фашистским захватчикам.

— Само оружие не стреляет,— прервал Жарков и, чтобы закончить разговор, сказал: — Придите-ка вместе с ребятишками.

Сказано было строго, почти приказным тоном, и Майка не посмела ослушаться. Под вечер она явилась с Власиком и Андрейкой.

— Ну, — с ходу спросил Жарков, чтобы не расхолаживаться и не потерять строгости.— Докладывайте, кто из вас проболтался?

— Товарищ Жарков! — возмутилась Майка.

— Товарищ Майя, я не хочу тебя обидеть, но без моего разрешения об оружии нельзя говорить никому. Даже самому близкому человеку... Так кто же?

Мальчишки замерли. Жарков видел, как они подталкивали друг друга, заставляя заговорить первым. Ему стало жаль ребят.

— Запомните: это военная тайна. И оружие. И то, что я здесь. Узнают немцы, плохо будет.

— Так их же нема,— слабо возразил Андрейка.

— Могут быть... Запомните... Вот дедушка съездит.

— Он что-то не едет,— вмешалась Майка.

— На свинье? — хихикнул Андрейка.

Дед Федор поехал в Пяльцы только через две недели, по первому снежку, на чужой кобыле. Он вернулся через два дня, вошел в баню, покряхтел, будто с большого мороза, доложил:

— Хвактов нема, слухи е.

БОЛЕЗНЬ

Наступило улучшение: нога отпустила. Жарков почувствовал это во сне. Захолодило бок, он повернулся и тотчас проснулся от страха, в ожидании боли. На этот раз боли не было. Жарков чуть не вскрикнул от радости, но сдержался и начал осторожно двигаться, сначала здоровой ногой, потом корпусом, всем телом, наконец приподнялся на руках. Он ощущал некоторое неудобство, скованность, напряженность, но не было главного, самого страшного — боли.

«Вот удивлю баушку»,— подумал Жарков и стал ожидать появления бабушки Христи.

Когда она появилась, Жарков как бы между прочим попросил:

— Помогите мне сесть, баушка.

— Ой! — воскликнула бабушка Христя и, оставив горшок с бульбой, бросилась ему на помощь.— Ой, лишенько моэ... Зробымо, зробымо.

— Вы помогите повернуться. И вот под спину что-нибудь. А я на руках, на руках.

Бабушка помогла ему повернуться, подложила под спину и голову тряпье.

— То я ще принесу. Ты снидай.

Когда пришел дед Федор, Жарков и его попросил:

— Воды бы в шаечку. Хоть руки отмою.

— Це добре, добре,— засуетился дед.

Жаркову было приятно наблюдать доброе удивление окружающих. От этого его собственная сдержанная радость становилась еще сильнее.

Прибежала Майка, выпалила от порога:

— Вам лучше, товарищ Жарков? А я опять взрыв слышала.

Слова девчонки вернули Жаркова к действительности. Ему лучше, но при всем при том он в тылу, ранен, и на нем знамя части, которое необходимо спасти.

— Мало ли какие взрывы могут быть,— произнес он приглушенно.— Время военное.

— Да нет же! — горячо возразила Майка.— Почему их в прошлом году не было? Я все лето тут отдыхала.

— Почему? В прошлом году войны не было.

— Ну я и говорю: партизаны.

— Это всё слова. Это только наше желание,— выдохнул Жарков.

Майка приблизилась к нему. Жарков увидел меж досок ее худое лицо, горящие глаза и завиток над правой бровью.

— Знаете, что я придумала? Надо что-то зажечь. Допустим, стог сена. Они увидят.

— И немцы увидят,— опроверг Жарков.— К тому же, сено горит очень быстро.

— Ну что же делать? — взмолилась Майка.

— Думать,— сказал Жарков, вновь почувствовав на себе непривычную ответственность командира за подчиненного.

— Так и война кончится,— вырвалось у Майки.

Жарков про себя усмехнулся. Еще совсем недавно, несколько месяцев назад, он сам думал точно так же, рвался на фронт и боялся, что не успеет принять участие в разгроме фашистов.

— К сожалению,— сказал Жарков.— Ты же сама говорила: немцы под Москвой.

— Так это ж фашисты... Врут они.

— Ну да, врут,— согласился Жарков.— Но мы-то сейчас где?

— Эх, товарищ Жарков,— выдохнула Майка не то с упреком, не то с сожалением за обидную судьбу и быстро пошла к двери.

Жарков не остановил ее.

К вечеру появились мальчишки, поздоровались и остановились у порога, переминаясь в нерешительности. Жарков опять углядел, как они подталкивают друг друга.

— Смелее,— подбодрил он.— Докладывайте, в чем дело?

— Бердан нашли, — выпалил Андрейка.

— Митяй нашел. В сарае, у тетки Дарьи,— разъяснил Власик.

— Ружье, что ли?

— Ага! — в один голос подтвердили ребята.

— А патроны?

— Може, есть.

— Не в том дело,— вмешался Власик.— Бердан не справный.

— Принеси. Посмотрим.

Мальчишки оживились, и это вновь обрадовало Жаркова, еще раз заставило ощутить счастье от сознания, что здоровье его восстанавливается, он поправляется.

Так длилось несколько дней. А потом грянула беда: Жарков заболел.

Случилось это неожиданно и снова ночью. Он проснулся от озноба, зуб на зуб не попадал. Сам дрожал, а на лбу испарина.

Бабушке Христе Жарков ничего не сказал, только попросил затопить печку. И деду Федору не пожаловался.

Обнаружила его болезнь Майка.

— А чего вы зубами цокаете? — спросила она и, не дожидаясь ответа, просунула руки меж досок.— Да вы горите весь.

Майка выскочила из бани.

Через несколько минут она вернулась с бабушкой Христей.

Бабушка тоже просунула руку меж досок, притронулась к Жаркову.

— Ой, лишенько! Занедужив хлопчик.

Она засуетилась, достала молока, вскипятила, напоила его. Теперь Жаркову стало жарко.

Появился дед Федор, принес лестницу-дробинку.

— Мы тебя понесем. Тут не можно.

Жарков ждал вечера, пытаясь уснуть. Но сон не шел, словно жар отгонял его. Наступили сумерки, сделалось так мрачно, что не стало видно мокриц на досках. Потом куда-то все исчезло, отдалилось. Начался бред. Ему казалось, что это скользкие противные мокрицы ползут по нему, и он все смахивал их, а они снова появлялись. И он опять смахивал. Иногда наступали не то что просветы в его сознании, но более-менее осознанные мгновения. Чьи-то руки прикасались к нему, и Жарков чувствовал их. Когда они дотрагивались до груди, он упрямо твердил: «Не-е».

И снова ему виделись мерзкие липкие мокрицы, что ползли по его телу...

Очнулся Жарков в избе. Он понял это сразу по запаху домашнего хлеба, знакомому с детства. В доме пекли хлеб. А он лежал на печи, и она приятно согревала спину. В избе было светло. Вероятно, не светлее, чем всегда, но ему казалось очень светло, потому что там, на сеновале и особенно в бане, он отвык от дневного света.

Слыша, что в доме люди, Жарков хотел заговорить, но тут на него напал кашель. Он появился где-то в глубине и никак не выходил наружу. Впечатление было такое, будто кто-то царапает там, в груди, перышком, и, как он ни силится избавиться от этого царапанья,— оно не исчезает.

— Поснидай,— услышал он над самым ухом.— Це молочко. Легче буде, легче.

Жарков выпил горячего молока, и ему действительно стало легче. Злополучное перышко исчезло из груди.

— Ему банки надо,— раздался знакомый голос.— Когда у меня было воспаление легких, мне банки ставили.

«Майка!» — хотел крикнуть Жарков от внезапно нахлынувшей, непонятной ему радости.

Но Майка уже поднялась к нему на печь. Он уловил ее удивленно-испуганный взгляд.

— Здравствуйте,— прошептала Майка.

— Здравствуйте,— ответил Жарков.

Она хотела улыбнуться, подбодрить его. Но улыбки не получилось.

— Как чувствуете? — спросила она, пытаясь скрыть смущение.

Жаркову захотелось утешить ее, и он поднял большой палец.

— Неправда,— сказала Майка.— Я болела. Знаю.

— Не той болезнью,— он невольно притронулся к груди, почувствовал мягкость бархата под гимнастеркой и напугался, что она может догадаться, на что он намекает, быстро поправился:— У меня ж и нога еще.

— Банки надо,— посоветовала Майка.

— Не плохо бы,— вырвалось у Жаркова, но он тут же возразил:— Не-е... У меня ж ранение... В грудь... Навылет.

Майка долго на него смотрела, и ему показалось, что она улавливает неправду.

— У меня братик есть, Юра,— призналась Майка.— Он на вас похож. Тоже усики. Такие же небольшие, русые. Он тоже в армии. Не знаю где...

В голосе ее проскользнула грустинка, и Жарков хотел ободрить ее, но Майка не дала себя перебить.

— Он даже стихи пишет. Хотите почитаю? — И еще не дождавшись ответа, она продекламировала:

Пойди посмотри, какие узоры
Оставила битва на поле событий:
Куда ни кинь взоры — столбы да заборы,
И череп, упрямой травинкой пробитый.
А были счастливые дни и у поля,
Когда поднималось под плугом, как бархат,
Пшеничное семя, подобное соли,
Сдобряло пласты незасеянных пахот.
Но черные вороны стаей взлетели,
Подняли тревогу, и разум повержен...

Появилась бабушка Христя, заворчала на Майку. Жаркову захотелось поддержать девочку, и он сказал:

— А у нас политрук стихи писал.

— Прочитайте,— попросила Майка.

— «Побываем мы где-нибудь чуточку»,— начал Жарков и закашлялся.

— Сойди, баламутка,— настойчиво вмешалась бабушка.— Не бачишь, что ли? Не може человик. Лихо ему.

На следующий день Майка начала с уговора:

— Если хотите, я вам почитаю Пушкина, Лермонтова, Блока. А вы помолчите. Вам трудно пока.

Жарков согласился и в свою очередь попросил:

— А брата своего Юры стихи еще не помните? — Он видел, что ей это приятно. Она, видно, любила брата и с удовольствием вспоминает его. — Почитайте его стихи.

— Но они же... сырые...

— Ничего. Читайте.

Он видел, как она вся засветилась, даже родинка на левой щеке порозовела.

— Ну, это... под настроение...

— Читайте, — повторил Жарков.

Майка скосила глаза на свет, отчего белки у нее стали голубые, и негромко, чуть протяжно прочитала:

Мои подруги зеркала,
Не отражайте ход событий.
Останутся колокола,
Хрустальный звон, как день разбитый.
Перегорит, ослепнув, свет —
Ни светлого и никакого.
И лишь зеркальнейший скелет,
Как перебитая основа,
Стоит, событья воскреся,
Неся кресты над головою,
Как проржавевшие гобои.
Восстанет ночь, глаза скося.
Мои подруги зеркала,
Не отражайте этот мрак...

Дверь распахнулась. Вбежали ребятишки.

— Слышали? — выпалил Андрейка еще более звонким, чем обычно, голосом.

— Взрыв был, — объяснил Власик.

— Где и что? — спросил Жарков.

— У Пяльцах. Наверно, склад, а может, водокачка.

— Видите, — с упреком произнесла Майка.

— Нет, — оборвал Жарков. — Если поедет, так опять дед Федор.

Осуществить организацию второй поездки Жаркову не удалось. К вечеру подскочила температура и он потерял сознание. Ему всё чудилось, будто его варят в огромном котле, и он стонал и метался, тревожился и боялся не за себя, а за знамя. Все прижимал ладони к груди. Чьи-то добрые руки помогали ему, чей-то голос утешал.

А потом прилетел орел и начал разрывать ему грудь когтями. Жарков кричал: «Не-е!» — потому что боялся: орел изорвет знамя.

И снова добрые руки прогнали хищную птицу. Но тогда прибежала собака и принялась с остервенением грызть Жаркова.

«Пусть меня, меня, но только не...»

Даже в бреду он не произносил слово «знамя».

А потом он оклемался. Жарков открыл глаза, услышал это слово и увидел лицо бабушки Христи в добрых морщинках.

Болезнь отступила, остались кашель и слабость. Бабушка все время поила его горячим молоком с маслом, давала еще какое-то зелье. Жар-

ков все послушно пил, потому что чувствовал после питья облегчение.

Опять появилась Майка. Он услышал ее голосок-колокольчик. Она спорила с бабушкой. Та не допускала ее к Жаркову.

— Пусть, — с трудом выдавил Жарков.

Майка улыбалась счастливой улыбкой и долго смотрела на него.

— Вы очень, очень похожи на нашего Юру. Только усы побольше стали.

Когда она ушла, Жарков напрягся, попросил Андрейку:

— Зеркало есть?

— Та есть. Воно расколото... — ответил мальчишка точь-в-точь как дед Федор.

В осколке зеркала Жарков увидел чужое, незнакомое ему, костлявое лицо, заросшее щетиной, действительно, при усах, с большим носом, нависающим над верхней губой. И только глаза — темно-карие, с удлиненным разрезом, с темными точечками у зрачков — были его, но большие-большие и усталые.

«Это от болезни», — успокоил себя Жарков и вернул осколок Андрейке.

ПОЛИЦАИ

Болезнь отступила, но окончательно не отпускала. Днем еще ничего, а ночью Жаркова мучил кашель. Жарков кашлял до пота, до крови. Каждый раз вставала бабушка Христя, давала зелья, и на некоторое время становилось легче. Затем опять кашель и боль.

— А то... рана не откроется? — боялась бабушка.

— Все может быть, — отвечал Жарков, прикрывая грудь руками.

Он боялся ночей и не любил их. А днем было лучше, и легче, и веселее. Приходила Майка, звенела голоском, вела беседы о жизни и внутреннем положении, а больше всего рассказывала о любимом брате. Жарков слушал и вспоминал своего брата, Линку, дом. Но особенно ему было приятно видеть, как оживляется девчонка, как от воспоминаний о своем брате Юре преображается ее лицо, и потому он всякий раз непременно просил:

— Еще чего-нибудь расскажите о своем братишке. Стихи не вспомнили?

— Один, маленький.

И Майка читала с затаенной гордостью:

Рамы переплет.
Думы-паутинки.
На осенний лед
Падают снежинки.
Падают, и вьются,
И грустят о лете...

А в раннем детстве, — прерывая чтение, заговорила она. — Он на девочку походил. Ну такой хорошенький.

— А меня брат ругал, когда я в девчачьи игры играл, — вставил Жарков.

— Нет, вы не подумайте, — перебила Майка. Он не был кислятиной, не был маменькиным сынком. В школе, на физо он руку сломал, так даже не плакал. Но душа у него была лиричной.

— Почему была?

Майка заглянула ему в глаза, осторожно спросила:

— Вы думаете, он живой?

— Ну, вот я же... — вырвалось у Жаркова, но, боясь напугать девчонку, он тотчас поправился: — Сейчас по тылам много наших.

Майка о чем-то напряженно размышляла, сведя брови на переносье, и все-таки не сдержалась.

— А вы верите, что мы победим?

— Конечно, — с некоторым удивлением отозвался Жарков. — Какой тут может быть вопрос.

— И я верю, — горячо заговорила Майка. — По-моему, тот, кто не верит, тот не советский человек. И Юра верит. Я убеждена...

Как только отлегло, кашель уменьшился, Жарков обратился к деду:

— А где эта? — и показал на левый карман.

— От далась тоби та бомба.

— Верни.

Дед покряхтел, но сходил в сени, принес «лимонку». Жарков пристроил ее на привычное место.

— А пистолет?

Дед хихикнул.

— Та вона... В кого ты пулять будешь? У тараканив?

— Принеси! — приказал Жарков.

— Та нехай.

Этой ночью Жарков долго не спал, обдумывал свое положение. Именно насмешливые слова деда Федора заставили его не спать. Действительно, в кого он может «пулять», если он в избе и кругом люди? И не просто люди, а те, кто спас его, кому он обязан жизнью.

«Да нет же, нет! — прикрикнул он на себя. — Что-нибудь есть. Найду выход».

«Должóн быть», — вспомнил он слова старшины Дробота. Тот всегда учил: «Думай, товарищ боец. Выход из любого положения есть. Должóн быть».

Жарков ничего не мог придумать. Стрелять нельзя. Придут враги и возьмут его. Возьмут вместе со знаменем.

«А я по дороге, — успокоил он себя. — Надо только накрыться чем-то, чтобы «лимонку» не заметили».

Жарков обрадовался этой мысли и уснул.

Проснулся он от пристукивания ухвата и от вкусного запаха домашних щей. Бабушка Христя колдовала у печи.

В избе было необычно светло, просматривалась трещинка в дальнем углу. Жарков не успел удивиться этому, появилась Майка, румяная с мороза, с розовым носиком.

— Снег выпал, — сообщила она.

— То-то-то, — набросилась на нее бабушка Христя. — Застудишь хлопца.

— Печка ж топится, — по привычке заступился Жарков и глазами пригласил девчонку пристраиваться для беседы.

Ему хорошо было в эту минуту. На душе спокойно. В избе светло. Ничего не болело. Рядом Майка, пышущая энергией. От нее исходил приятный морозный дух, будто бы она принесла Жаркову кусочек зимы.

— Вспомните стихи вашего брата, — попросил Жарков, чтобы сделать девчонке приятное. — Ну те, про пузырьки на лужах.

Майка на этот раз почему-то не отозвалась на его просьбу, сказала:

— Он очень Лермонтова любил.

— Тогда читайте Лермонтова, то, что любил ваш Юра.

Майка, как обычно, скосила глаза и стала читать непривычным тоном, нараспев, с какой-то несвойственной ей интонацией. Особенность интонации состояла в том, что она передавала не только смысл, но и музыку стиха.

«Наверное, так ее брат читал», — догадался Жарков.

Печальный демон, дух изгнанья,
Летал над грешною землей,
И лучших дней воспоминанья
Пред ним теснилися толпой.

И Жаркову было покойно и приятно от этой музыки. Он даже глаза закрыл.

Тех дней, когда в жилище света
Блистал он, чистый херувим,
Когда бегущая комета
Улыбкой ласковой привета
Любила поменяться с ним,
Когда сквозь вечные туманы,
Познанья жадный, он следил
Кочующие караваны
В пространстве брошенных светил,
Когда он верил и любил...

Хлопнула дверь, как выстрел. Ворвался Андрейка, выпалил:

— Немцы идуть!

У бабушки ухват из рук выпал, отчетливо звякнув об пол. Майка зажала рот ладошкой, точно закричать побоялась.

— Михей с берданом зайцев искал, — тараторил Андрейка.

— Я как учил докладывать? — прервал Жарков.

— Та два воза, — произнес Андрейка, недовольный тем, что его перебили. — Немцы та полицаи. — Ему необходимо было выговориться, и он опять завелся: — Воны песни горланят. Вин як почув, тай и махнул на лыжах.

Вбежал дед Федор.

— О, це лихо! Дробынку треба. У баню треба.

— То-то-то, — решительно остановила его бабушка Христя. — Та вин же хворый. А ну, геть отсюда! — прикрикнула она на Майку.

— Глянь, их вже видно, — вставил дед.

— Андрейка, — командовала бабушка. — А ну, сигай на пичь. Одяги побольше. Закидывай хлопца, закидывай.

Не успел Жарков опомниться, как на него уже навалили каких-то тряпок и одежды, а рядом, прямо в шубейке, уложили мальчишку. Жарков лежал закрытый с головой, еще ничего не соображая. Рядом дрожал испуганный Андрейка.

— Дядько красноа-армеец, мене лих-хоманить, — прошептал он.

— Держись, — успокоил Жарков, а сам подумал: «Вот это да! Вот это влип! Я ж скованный. Я ж теперь по рукам и ногам скованный! — Он думал так, а сам машинально прикрывал грудь тряпьем. — Главное, чтобы не увидели, чтоб гранату не заметили. Вынесут, а я на улице и дерну за кольцо... А знамя? — ужаснулся он. — А к ним попадет — лучше?»

Решение было принято, и он успокоился, если, конечно, можно назвать покоем то величайшее напряжение, в котором он находился.

Жарков лежал не двигаясь и слышал все, что происходило в доме. Бабушка по-прежнему стучала ухватами и одновременно наказывала деду:

— Первачу добудь... Делай, як кажуть.

Кто-то приходил, и бабушка шепталась с ним в сенях.

Потом она приближалась к печи и обращалась к Андрейке:

— Не трясись. Боже поможет.

К Жаркову она не обращалась, вероятно, надеялась на его солдатскую выдержку.

Ожидание тянулось бесконечно. Жаркову было жарко и душно. Он весь покрылся липким потом, и проклятое перышко вновь стало поцарапывать в груди, вызывая кашель.

Хотя он и ожидал прихода недругов, но ворвались они неожиданно. Дверь будто вихрем рвануло. Это они ногами ее шибанули.

— Проходите, господин унтер, — услышал Жарков заискивающий голос.

— И то, и то, — подхватила бабушка Христя.

И то, что она подхватила слова полицая и тоже заговорила вроде заискивающе, резануло Жаркова по сердцу. Он тотчас настроился против бабки. Он сознавал, что иначе она не может, что делает это ради него, но в душе не мог мириться с этим заискиванием перед врагом. Его бы воля, всадил бы всю обойму в этого фрица, в этих предателей. Но он был скован, рядом, дрожа всем телом, лежал мальчишка, а при нем, Жаркове, знамя.

— Може, по чарке з морозу? — спросила бабка еще более льстиво и, не дожидаясь ответа, крикнула: — Дид, чóго ты засидевся? Принимай гостей.

Вероятно, дед появился с бутылью, потому что полицаи оживились, а немец воскликнул:

— О, шнапс!

«Дед хоть молчит», — одобрил Жарков и еще больше напрягся, вслушиваясь в то, что происходит в избе.

Полицаи пили и закусывали, похрустывая огурцами. Бабка и дед молчали. А на Жаркова напал кашель. Он еле сдерживался, схватил себя за горло, засунул в рот какую-то тряпку, как кляп, и тяжело дышал носом, боясь одного — чтобы не услышали его тяжелого дыхания.

— Ну, вот чóго, — донесся нагловатый и хриплый голос, очевидно толмача-полицая. — Живность имеется?

— Та ни-и, — ответила бабка, ну, совсем как Лиса Патрикеевна из известной сказки. — Того разу взялы.

— Гляди. Господин унтер не любит, когда скрывают.

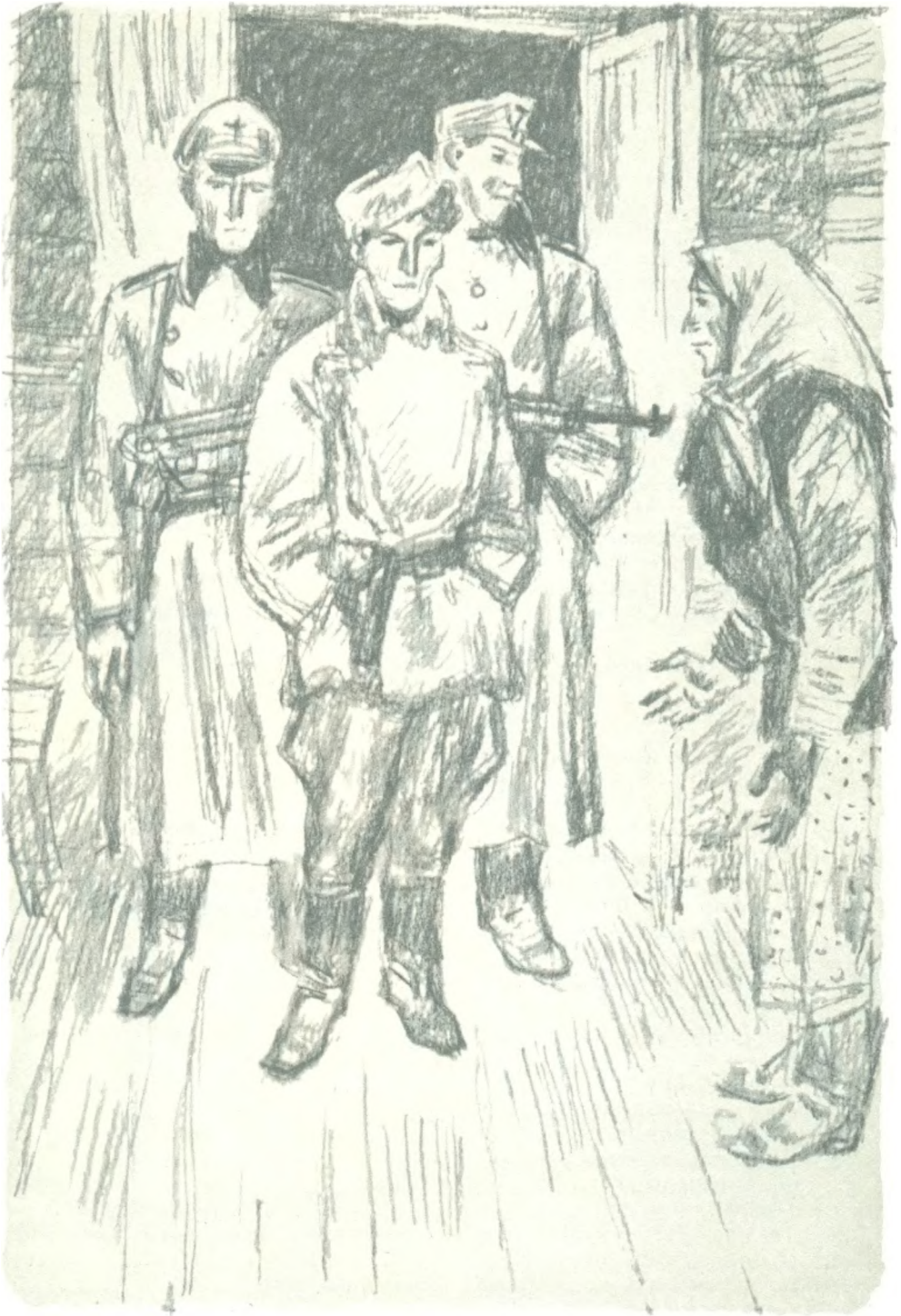
— Они велят пороть, а не то сжечь, — подхватил первый, заискивающий голос.

— Зразумила, — подтвердила бабка. — Можете шукать.

— Ну а людины? Германии работники нужны.

— Та нема. Я, дид та хлопчик малый... А вы куштуйте, куштуйте.

Жарков уже ненавидел бабку. Так она распиналась перед врагами, так угощала. И если бы не мальчишка, не дед с бабкой, если бы не знамя, вскочил бы он, саданул бы гранатой.



— А шмотки? — пытал все тот же наглый голос.

— Яки шмотки? Мы ж бидны люди.

Полицаи — было слышно — прошли по избе. Проскрипели половицы под их ногами.

— А на печи чóго? — повысил голос толмач-полицай.

Дед крякнул, а бабка не растерялась.

— Та хлопчик... Захворав вин, — ее голос стал плаксивый. — Може, лихоманка, а може, тиф.

— Тифус! — воскликнул немец и хлопнул дверью.

Полицаи устремились за ним, а толмач уже от порога предупредил:

— Гляди. Хитра больно.

Некоторое время все молчали, а потом заплакал Андрейка.

— Ну, чого ты? — ласково спросила бабушка.

— Мокрай я.

— Потерпи. Уйдут, на печи обсохнешь. Це ничого, ничого, бувае.

Жарков, еще не веря в чудо, выдернул изо рта тряпку и вдохнул полной грудью. Сейчас он был готов расцеловать бабушку. Но в избе было тихо. Все затаились, все вслушивались. И не зря. В сенях опять зашумело. Жарков едва успел накрыться, прикрыть грудь тряпкой.

— Брешешь тут, — заворчал толмач-полицай (Жарков тотчас узнал его по голосу). — Чуть хату не спалили. Тиф, тиф.

— Та я ж не знаю. Може, и не тиф.

— Може, може. Давай самогон... И гляди...

— Дякую, добрый человиче. Дякую.

Она, видно, хотела поцеловать его руку. Толмач-полицай прикрикнул:

— Буде, дура-баба, — и хлопнул дверью.

НА ОГОНЕК

— А где Майка? — после долгой паузы прошептал Жарков.

— Сховалась, — так же шепотом ответила бабушка Христя.

— Воны у лазни, — прохрипел дед Федор, точно у него вдруг перехватило горло. — У нашей. Воны с Михейкой... Там, де ты ховався.

— Ой, лишенько! — вздохнула бабушка.

Больше ничего не говорили. Ждали. Дважды дед Федор прокрадывался в сени и возвращался ни с чем.

— Гады еще в селе.

Бабушка подходила к печи, утешала Андрейку. Один раз обратилась к Жаркову:

— Ничего, Дмитро. Все буде добре.

Издали послышался плач. Дед кинулся было к двери.

— То-то, — остановила бабка. — То мобуть Ковалиха. Ковалиху ще тоди пытались увезты.

Запахло горелым.

— Палять, — всполошился дед.

— Та ни, — успокоила бабушка, бросаясь к печи. — Це хлиб подгорив. То ничого, съедимо.

Мимо окошек кто-то пробежал. Заскрипел снег.

Дед вскочил в сени. Через несколько секунд вернулся.

— Я ж казав... Иванихину хату пидпалилы.

— Иванихи ж нема.

— То и пидпалилы... Ты чего стоишь? Ты шо, на сельхозвыставци?— закричал он на бабку. — Дэ видро? Дэ ломака?

— Ты чего?! Воны ж...

— Воны втеклы, ще засвитло поихалы.

Наступили ранние зимние сумерки. Теперь пожар чувствовался в избе: яркие всполохи, темные тени, сменяя друг друга, метались по стенам и потолку: Андрейка под шумок убежал. В избе находились бабушка Христя и Жарков. Бабушка обтерла Жаркова мокрой тряпицей, напоила, накормила. Оба не разговаривали, все еще переживали потрясение этого дня.

Несколько раз вбегал дед, деловито докладывал:

— Всэ добро вынеслы. По хатам разтяглы. Я наказав, щоб стереглы.

— Андрейко дэ? — спросила бабушка.

— Мабуть там. Хлопята крутятся. А та баламутка та Михей допомогают.

Майка пришла затемно, вместе с Андрейкой, заговорила было, делясь переполнявшими ее впечатлениями.

— Не цокоты, не цокоты. Мовчи, — оборвала ее бабушка Христя.

Легли, не зажигая света. Отблески пожара освещали избу. Алые всполохи то налетали, то исчезали, как невидимые птицы.

Все вроде уснули. А Жарков еще переживал. Среди всего прочего его озадачило поведение толмача-полицая. «Почему он посочувствовал, отговорил поджигать дом, перенес огонь на соседний, пустой? Отчего он выговаривал бабке за опасные слова? Почему в то же время сказал «хитра больно»? О чем-то догадался? Что-то понял? Заступился? Но он же с немцами, он — предатель. Да, да, гнида, — заключил Жарков. На этот счет у него была твердая позиция: лучше смерть, чем предательство, лучше пуля в лоб, чем плен. — И если так случится, — он невольно потянулся к пистолету, но тотчас остановил себя. — Но я же... Мне же необходимо выжить, знамя спасти».

Жарков просунул руку под гимнастерку, погладил бархат. Успокоился. Задремал.

Жаркова разбудил резкий стук. Со сна ему показалось — что-то упало в сенях. Но тут же он догадался, что это не так. Стук повторился. Колотили ногой в дверь. Жарков машинально схватился за пистолет и хотел позвать бабушку, но она уже появилась на кухне.

— Иды до мене, Андрийко. Мовчи. Ничого, ничого.

Она снова подсадила полусонного Андрейку на печь, а деда, бросившегося было к двери, придержала:

— Погоди... Давай одежду.

В дверь продолжали настойчиво колотить.

— Хто це там? — хрипло спросил дед Федор, когда все приготовления были закончены и бабка разрешила ему выйти в сени.

— Да я же, Ковалиха. Сбежавши я, — послышался слезливый голос.

— О господи! — вырвалось у бабушки. — От лихоманка, всих переполошила.

Жарков, более не опасаясь, приоткрыл лицо и смотрел на вошедшую...

Ковалиха, как ступила на порог, так и обмякла, опустилась прямо на пол.

— Испить дайте.

Огня не зажигали. Всполохов от пожара не было видно. Отблески от снега за окошком давали свет. Можно было различить глаза, все ее движения. По блеску глаз, по движениям Жарков понял: женщина еще нестарая, крепкая, полная сил.

— Ничóго, ничóго, — утешала ее бабушка, а сама махала деду — дескать, уходи, без тебя справлюсь.

Дед крякнул для гордости и скрылся в горнице. Бабушка уложила Ковалиху на лавку подле печи, сама постояла, подумала, видно решая, как быть с Андрейкой.

— То так и буде, — произнесла она явно для Жаркова, потому что Андрейка спал, сладко посапывая.

Жаркову хотелось поговорить с этой Ковалихой, которая проявила прямо-таки солдатскую находчивость и смелость, сумела сбежать от немцев, обманула их, но он понимал, что этого делать нельзя, тем более что сама Ковалиха вскоре уснула и лишь постанывала во сне.

«У каждого свое», — заключил Жарков и, вздохнув сдержанно, приказал себе: спать!

Но поспать в эту ночь ему не пришлось. Только он поправил ногу, расправился весь, продышался и прикрыл глаза, раздался отчетливый стук в окошко, как синица клювиком.

— Ну, шо це за лихо, за напасть якась, — заворчала бабушка Христя, появляясь в кухне.

Она, верно, заметила кого-то, быстро прошептала:

— Дмитро, скорей ховайся.

Стук клювиком повторился.

— И чóго? — вполголоса спросила бабушка.

— Свои. Замерз, — донесся простуженный голос.

Снова, как по отработанной программе, показался дед, покряхтел, поддернул подштанники и вышел в сени.

Вернулся он через несколько секунд в сопровождении приземистого мужика (Ковалиха уже сидела на лавке. Андрейка спал. Жарков с головой укрылся тряпками).

— Извиняйте, — оправдывался мужик. — Шел на огонек, а покуда добрел, огонь-то и погас.

— Растяглы, то исть потушили, — объяснил дед.

— Тыхесенько, хлопчик малый, — попросила бабушка Христя.

— Да, да, — отозвался мужик. — Еще раз извиняйте. Я отогреюсь и уйду.

Его тон вызывал доверие и расположение.

— А може, бульбочки? — предложила бабушка Христя.

— Это б можно.

Пока она доставала из печи и погребка картошку, огурчики, хлеб, пока накрывала, все молчали.

Жарков мучался вопросом: «Кто бы это? Свой-то — свой, но... и тот толмач-полицай — свой...».

Жарков не видел, как ел мужик, только слушал, как он похрустывает челюстями, значит, голоден, и это чуть-чуть успокоило Жаркова. «Полицай нажрался бы. Полицай голодным бы не пришел».

— А что случилось-то? — заморив червячка, спросил мужик. Говорил

он, слегка приокивая, и это тоже располагало к нему Жаркова. — Поджег кто или как?

— Воно... этот... — дед пытался подобрать слова.

— Полицаи, трекляти! — вставила бабушка.

— Значит, так, — смело и толково заговорила Ковалиха. — Я ихни рожи бачила. Я с ними ехала. Двое саней. Семь полицаев, два немчуришки.

Жаркову все больше нравилась эта Ковалиха. Прямо боец, и докладывает точно. И тут он подумал: «А для чего этот мужик интересуется?..»

Мысль перебил дед Федор со своими вечными вопросами:

— А воно... это... гадаю... Гитлераци николы наших не поборють.

Дед, очевидно, сам напугался своих слов, осекся.

Молчание длилось долго. Наконец мужик ответил:

— Я с вами вполне солидарен. — Он еще промолчал и сказал доверительно: — Вот что попрошу... Дорога на эти Пряльцы...

— Та Пяльцы, — поправила бабушка.

— Ну да. Одна, спрашиваю?

— Та воно точно, вона одна, — повысил голос дед, выгораживая свое право разговаривать о мужских делах.

— А сюда болота, — мужик, видимо, показал рукой направление.

— Трасовина, — подтвердил дед. — В зимку ничого, а литом краще в мокроступах.

— А отсюда? — выспрашивал мужик.

Жаркову теперь было почти ясно, что это свой человек, тот, кто ему сейчас нужен, что он пришел в разведку и надо бы заговорить с ним. Жарков уже привстал на руках, чтобы сказать слово, но тут подумал о знамени: «А что как нет? А что как оборотень?»

И он опустился и затаился снова.

— Не куришь, дед? — спросил мужик.

— Та воно...

— Давай по цигарке на прощанье.

Пахнуло табачным дымом, и Жарков опять схватился за горло, начал растирать его, чтобы убрать проклятое, появившееся вновь «перышко».

— Глухое у вас место, — произнес мужик после паузы.

— Мабуть, — подтвердил дед. — Мы тутошни, так воно...

— Тут и спрятаться можно, — продолжал мужик.

На это дед не ответил, закашлялся притворно, будто затянулся глубоко да не рассчитал затяжки.

— Мабуть борщу налить? — встряла бабушка.

— Спасибо, — отказался мужик и продолжал гнуть свое: — Я к тому... На всякий случай. Не прогоните, ежели чего?

Неожиданно в разговор вмешалась Ковалиха.

— Ко мне заходьте... Я за три дома отседа... Это седни тут... так, по случаю.

Мужик, видно, усмехнулся.

— Ну, к тебе — это другой разговор. Это тоже можно.

— Да ну-у, — смутилась Ковалиха. — Я сурьезно.

— А ты, вроде, и не здешняя?

— С России приехавши. Три года уж.

— Ага, — словно утвердил мужик. — Такие дела.

Он, верно, поднялся.

— Пора мне. Спасибо за все. — И пошел. В дверях остановился. — Да, вот что. Советская власть не ушла. Она отступила. Временно. В виду вероломства фашистов... Это я к тому, чтоб знали.

— Так, так, — поддакнула бабушка. — Это на дорожку тебе... — И вдруг прикрикнула на деда: — А ты куды збираешься?

— Забув... Вогонь... То исть угольков.

— Давай во что, я насобираю, — предложил мужик.

— От дякую, от дякую, — решительно вмешалась бабушка Христя, главным образом для того, чтобы удержать деда от опасного выхода.

Прошло какое-то время, потом раздался стук.

Дед выскочил в сени.

А потом Жарков услышал голоса. Под окошком разговаривали двое.

«Ну, точно, точно — свои», — повторял он в отчаянии, готовый закричать, выстрелить, броситься им вслед. И он что-нибудь да сделал, если бы мог, если бы был один, если бы не знамя, лежащее на его груди.

ДЕСАНТ

— А знаете, товарищ Жарков, какой я сон видела? — сказала Майка, едва появившись в доме.

После этих интригующих слов она поднялась на печь, села поудобнее и как-то странно на него посмотрела: взглянула и отвела глаза. Обычно она глаз не отводила, смотрела чуть ли не в упор.

— Мне приснилось, — Майка понизила голос, — будто наш Юра жив, только вот так же, как вы, где-нибудь среди наших людей, ранен или болен.

— Вполне возможно, — согласился Жарков.

— А еще может быть, — продолжала Майка, — что он в партизанах, в тылу воюет. Есть же такие?

— Есть, — подтвердил Жарков и тотчас вспомнил ночной приход и мужика с простуженным голосом.

Майка опять стрельнула взглядом и выпалила неожиданно, как обожгла:

— А я все о вас рассказала.

У Жаркова пересохло в горле.

— Кому? Что все? — выдавил он.

— Ну, этим... партизанам, что приходили ночью.

— Откуда ты знаешь, что они партизаны?

— Парень говорил. — Теперь она смотрела на Жаркова широкими, восторженно-радостными глазами. — Он мне комсомольский билет показывал. Там его фотография, а я ему свой показала.

Ошеломленный Жарков молчал.

— А что касается вас, — наступала Майка, — то вы же сами, товарищ Жарков, сообщили, что выполняете особое задание.

— Когда это я сообщил? — решительно возразил он.

— Ну, когда болели, в бреду.

Жарков махнул рукой и отвернулся к стене.

— Плохой я боец.

— Не доверяете? — голос у Майки дрогнул. — А вот они поверили. Я теперь на них работать буду, в разведку ходить буду.

Жарков не поддержал разговора, и Майка, посидев еще немного, исчезла.

Потянулись трудные дни и ночи ожидания и тревог.

На третью ночь к ним опять постучали, как синичка клювиком по стеклу.

— Свои, — послышался простуженный голос.

— Воны, — дед даже не обулся, застучал по полу босыми пятками, торопясь открыть дверь.

— Погодь, — остановила его бабушка. — Ну, чóго?

— Та ждуть.

— Ну и хай пидождуть.

Она подошла к окну, долго вглядывалась, признала.

На этот раз в избу вошли двое.

— Только попить, — сказал простуженный голос.

Он попил, крякнул, передал кружку товарищу. Тот попил и тоже крякнул.

— Времени нет. Ближе к делу, — начал простуженный голос. — Нам известно, что вы совершили героический подвиг, укрыли раненого бойца Красной Армии, за что от всей Красной Армии вам огромное спасибо. А бойца того мы должны взять с собой.

Бабушка пыталась возразить, мужик не позволил.

— Не бойтесь, бабуся. Мы тоже Красная Армия.

— Та вин ще хворый.

— Раненый я, — не удержался Жарков.

— О! — воскликнуло два голоса, и через секунду Жарков увидел два молодых пышущих морозцем лица. — Здорово, друг.

— Воно то... то правда, — решительно вмешался дед. — Вин сам не може, пораненный вин у ногу и у грудь.

Парни спустились на пол, о чем-то посовещались.

— А гранату-то ты нам передай, — попросил простуженный, вновь появляясь перед Жарковым.

— Не-е, — отказался Жарков. — У меня... у меня... — он искал хитрого слова. — У меня пакет! — выпалил он громко. — Особое задание.

Это убедило парней. Больше о гранате не спрашивали.

— Дробынку треба, — предложил дед.

— У нас подвода.

— Ни-и, не можно так.

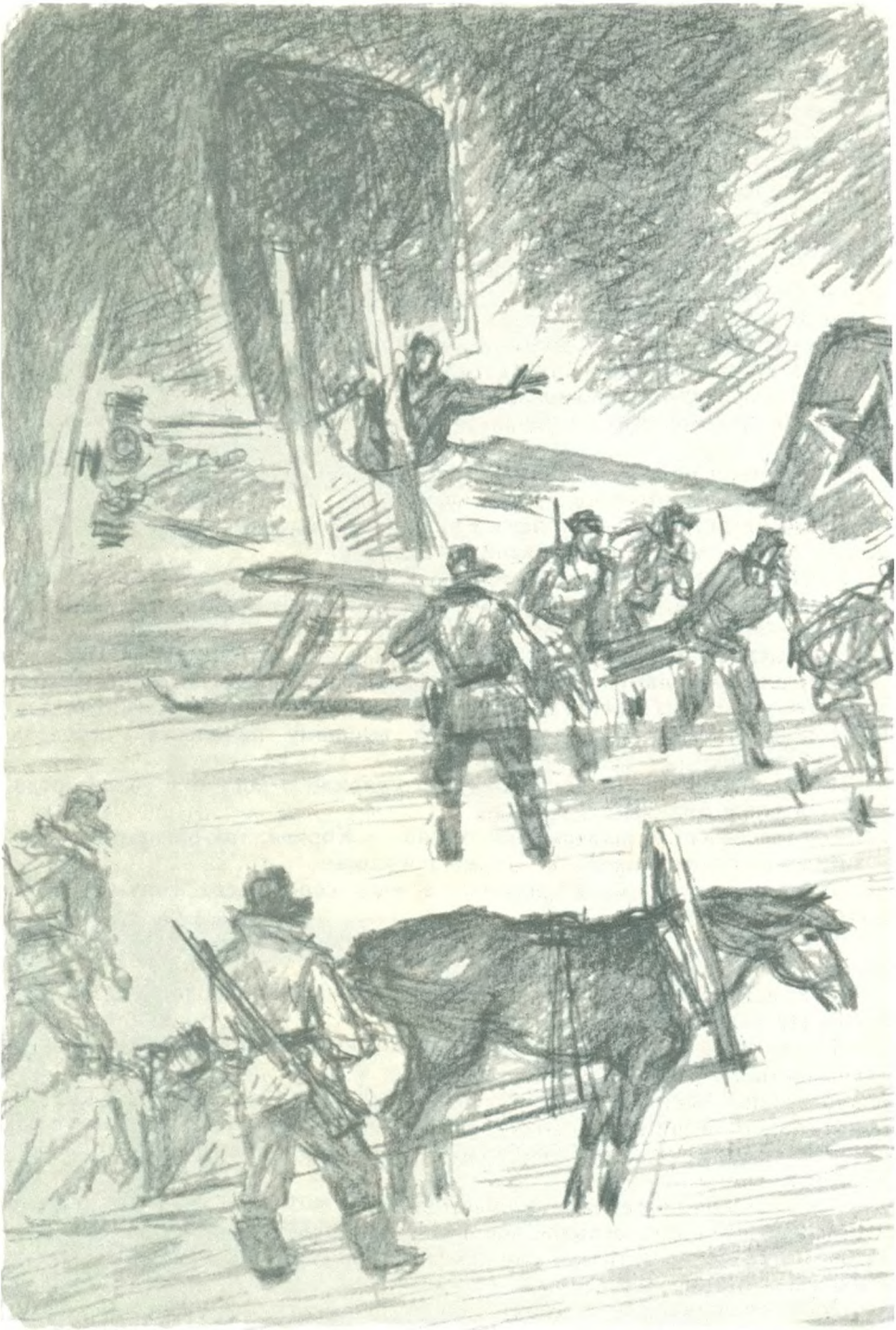
Дед куда-то сбегал, принес уже знакомую Жаркову лесенку.

С помощью парней Жаркова спустили на пол, примостили на импровизированные носилки.

Когда его вынесли на воздух, Жарков захлебнулся, опьянел, почувствовал головокружение. Ощущение было такое, будто он вернулся с другой планеты.

Так давно он не видел и не чувствовал каждой клеточкой эту белизну, этот снег, дома под белыми покрывалами, деревья под пушистыми накидками. И небо, хотя и было покрыто облаками, все равно казалось высоким и бесконечным.

Пока он приходил в себя, сани уже тронулись, скрипнув на повороте.



— Стойте, — попросил Жарков. — Стойте, — повторил он.

— Ну чего? Неловко уложили? — спросил простуженный.

— Остановитесь. Теперь позовите бабушку и деда. Надо, — настаивал Жарков. — По делу надо.

Один из парней, тихо ругнувшись, побежал к дому. Вскоре он появился в сопровождении бабушки Христи и деда Федора.

— Дед, иди-ка достань, — приказал Жарков.

— Та воно...

— Достань... Это важно!

Дед почесал бороду, но пошел.

— А вам, бабушка, за все большое спасибо. Вовек не забуду.

— Хай боже тебе береже, — старуха наклонилась, перекрестила его и поцеловала холодными губами.

Послышалось легкое позвякивание: дед тянул за собой свою ношу по снегу. Это были «дегтярь» Жаркова и автомат.

— Помогите, — попросил Жарков.

Простуженный кинулся на помощь деду.

Приняв ношу, завернутую в тряпье, еще раз попрощались со стариками и тронулись в путь.

— А ты парень правильный, — одобрил простуженный, когда они отъехали от деревни, и развернул тряпье.

Он слегка похлопал Жаркова по плечу.

Дальше Жарков ехал, как в полусне: дремал, закрыв глаза, вслушиваясь в поскрипывание полозьев и неторопливый разговор парней, как бы отдалялся из бытия и вновь возвращался к нему. Еще несколько раз спрашивали, не холодно ли? Поправляли сено и опять ехали.

Жарков временами оживлялся и думал свою думу: «Как поступить? Что говорить? — И решил наконец: — Так вот и буду, как сказал парням. Пакет, мол. Приказано только высшему начальству передать. А в грудь ранен, не трогайте».

Неожиданно его тряхнуло так, что ударило в ногу и в голове отдалось. Жарков ойкнул.

— У, язви ее! — выругался возница. — Коряга, так-распротак.

Лошаденка взбрыкивала. Парни ругались.

— Сама, холера, заплуталась, а еще сердишься. Тпру-у! — орал возница.

Втроем они легко приподняли сани, успокоили конягу и опять поехали.

Теперь Жаркову не дремалось. Нога вдруг стала болеть, не то чтоб остро, но напоминала о себе.

Дорога шла лесом. И Жаркову невольно вспомнился тот сентябрьский лес.

Редкие ягоды и гнездо грибов, подберезовиков. Скудный березовый сок. И березка, оказавшая ему помощь. Что-то принесет ему этот белый, зимний лес? Радость или горе? Поможет или помешает выполнить особое задание?

Размышления прервала песня не песня — мотивчик без слов. Мурлыкал под нос возница. Тотчас простуженный поддержал мотив:

Как на Черный Ерек,
Как на Черный Ерек
Трахнули татары
Сорок тысяч лошадей.

Пел он еле слышно, хрипловатым голосом, но именно этот голос был как нельзя кстати, к месту, ко времени, к песне.

И покрылся берег,
И покрылся берег
Сотнями убитых
И порубленных людей.

Песню запели втроем:

Любо, братцы, любо,
Любо, братцы, жить...

Жарков вспомнил. Перед самой войной шла картина с этим мотивом. Песню пел знаменитый актер Борис Чирков. А в зале, среди прочих людей, сидели он, Линка и его дружок Серега Нетбайло. Песня как бы мостик перекинула к той недавней и такой далекой жизни. Где Линка? Где Серега? И к кому его везут?

Он даже хотел спросить парней об этом, но они так самозабвенно пели, что он не решился прервать песню.

Кудри мои русые
Ветры разнесут.
Очи мои синие
Вороны склюют.

Ему было приятно, что парни держались с ним просто, сразу приняли за своего. А поездка, видно, была для них обычным делом, будто ночной лес, тучи над головой, тишина, неизвестность — так, игра, никому ничего не грозит. Но он-то знает, до гроба запомнил, как они вот так же беспечно вышли из леса и наткнулись на автоматный огонь врага.

«Может, они гражданские? Может, стоит все-таки еще раз предупредить о пакете? — колебался Жарков. — Но почему же тогда они благодарили деда и бабушку от имени Красной Армии? Нет, — отказался от своих намерений Жарков. — Они такие же, как я: они ж мне поверили, отчего же я начну выражать им вроде бы недоверие?»

— Эх, черт! — прервал песню простуженный. — Забыл к Ковалихе заскочить. За самогонкой. Она полицаев спаивала, наверно, еще осталось. Наш доктор просил. Да и для него вот, может, сгодится, — он показал на Жаркова, очевидно думая, что тот спит.

— Не вертаться же, — пробурчал возница.

В ответ простуженный снова запел:

Жинка потоскует,
Жинка потоскует,
Выйдет за товарища,
Забудет про меня.

Все трое подтянули почему-то особенно дружно:

Жалко только волюшку,
Да широко полюшко,
Бурку, да шашку,
Да буланого коня.

Неожиданно пошел снег. Он щекотал щеки и лоб. Жаркову пришлось повернуться.

— Разбудили? — спросил простуженный.

— Я не спал, — признался Жарков.

— Чего-нибудь болит?

— Нет, — утаил Жарков.

Простуженный помедлил, придвинулся поближе, подбодрил:

— А ты не тушуйся.

— Да я ничего.

— А это... — прошептал простуженный. — Насчет пакета, верно?

— Точно, — поспешно ответил Жарков, боясь, что малейшая пауза вызовет недоверие. — Для самого генерала...

Внезапно прокричал филин. В ночной тишине звук этот был отчетливо слышен. Ему отозвался возница, будто передразнил птицу. И тут Жарков понял, что это никакой не филин, это — условный знак. Значит, они подъезжают. Он внутреннее собрался, подготовился к встрече.

Но никакой встречи не было. Они еще куда-то свернули и тотчас оказались в окружении многих людей. Народ появился точно из-под земли. Начался обмен мнениями и новостями, какие-то свои разговоры, значения которых Жарков не понимал. До него доходила только одна фраза:

— Не подходи и не трогай. Он раненый.

Ее произносил простуженный.

— Не подходи и не трогай.

Но люди все-таки подходили, смотрели на него с любопытством. В темноте, на белом фоне он четко видел их глаза и лица, похожие на одно лицо. Наконец появились два человека, не принадлежащие к этой толпе. Они умело, не причиняя боли, подняли Жаркова и понесли его действительно под землю, зашуршала плащ-палатка, и он очутился в довольно вместительной землянке. Его уложили на деревянные нары, покрытые ветками и сеном, спросили, хочет ли он есть, пить, еще чего? Все, что надо, принесли, сделали, сказали:

— Спи покуда.

Горела трофейная плошка. Пламя вздрагивало, и по потолку, покрытому брезентом, метались извилистые тени. Рядом с Жарковым кто-то похрапывал, а у плошки он заметил дремлющую фигуру.

«Значит, утром», — сказал он себе и постарался уснуть. Как ни странно, это ему удалось почти сразу, видно, морозный, хмельной воздух сделал свое благое дело.

«БОРОДА»

Жарков проснулся от ощущения, что на него кто-то пристально смотрит. Это ощущение было настолько осязаемым, настолько острым, что он тотчас открыл глаза. Перед ним стояли два человека. Один маленький и толстый, другой — высокий и тонкий. Жарков чуть не усмехнулся, так они напомнили ему Пата и Паташона — героев картины, которую он видел еще в раннем детстве.

— Ну? — произнес Паташон и приветливо кивнул ему, как кивают проснувшемуся ребенку. — Как поспал? Что болит?

— В порядке, — ответил Жарков и тут же смекнул, что это доктор, добавил осторожно: — Вот нога немного. Растрясли.

— А грудь? — спросил Паташон.

— Не-е, — категорически протянул Жарков. — Ее и трогать не надо.

— Вот померяй температуру, — предложил Паташон и протянул Жаркову градусник. — С лекарствами у нас не очень, а градусники есть, —

добавил он с улыбкой и покосился на Пата, точно извиняясь перед ним за шутку и одновременно уступая место для разговора.

Тот, что напоминал Пата, наклонился пониже, чтобы рассмотреть лицо Жаркова, а быть может, по привычке видеть глаза человека при разговоре.

— Вас когда ранило? — спросил Пат.

— В сентябре.

— В сентябре? — разочарованно переспросил он.

— Ну да, где-то в конце.

— Так вы не радист?

— Нет, — сказал Жарков. — Я рядовой красноармеец.

Он машинально протянул руку к карману, но замедлил движение, и тотчас поспешно, чтобы не заметили этой заминки, объяснил:

— У меня важный пакет. Приказано, когда туда доберусь, начальству отдать.

Жарков извлек красноармейскую книжку, подумал и добавил к ней комсомольский билет. Пат кивнул, принял документы и молча вышел из землянки.

— Он хороший, — торопливо заговорил Паташон, очевидно заметив волнение Жаркова. — Военный, знающий. Душа!

Он достал из-под мышки Жаркова термометр, подошел к коптилке и воскликнул:

— Ого! Градусы. Должно, остудился. У меня аспиринчик есть.

Паташон довольно ловко для его комплекции повернулся и исчез.

— Нормальный мужик, — подбодрил сосед Жаркова. — Филипыч, говорю, нормальный.

Он хотел еще что-то добавить, но Филипыч уже появился в землянке.

— Вот, это самое, — произнес он веселым тоном и протянул Жаркову таблетку, как будто ребенка конфетой угостил.

Санитара в землянке не оказалось, и Филипыч сам решил подать воды. По тому, как он это делал, поднимал за плечи, придерживал голову, Жарков понял: тут он не большой мастер. «Бабушка Христя это делала куда лучше».

— В случае чего, ты к санитару обращайся, — наказывал Филипыч. — Не стыдися, это самое.

— Ну вот я и говорю, — продолжал сосед, когда Филипыч вновь вышел из землянки. — Нормальный, но с примечанием. Ветеринар, это самое, — он интонацией подчеркнул последние слова. И Жарков понял, что они — любимые слова Филипыча и сосед, произнося их, как бы подражая фельдшеру, делает это не зло, а с добродушной шуткой.

Теперь Жарков разглядел соседа. Собственно, разглядывать было нечего: вся голова и лицо у него были забинтованы, торчали нос, губы, глаза. Зато видна тяжелая рука, такая широкая в кости, такая могучая в ладони, будто она принадлежит богатырю, а не этому обыкновенному человеку.

— Меня Иваном зовут, — произнес сосед, заметив, что Жарков разглядывает его. — Я сам с Урала буду.

— И я из тех мест, — отозвался Жарков. — А зовут Дмитрием.

Иван начал уточнять местожительство Жаркова, а когда выяснил, произнес разочарованно:

— Ну, это километров пятьсот—шестьсот к югу. Но все равно — земляк.

Жарков опасался расспросов насчет ранений, а главным образом насчет секретного пакета, но Иван оказался человеком деликатным, ни слова об этом.

— Тут «борода» — всему голова, — произнес Иван и засмеялся, видно, ему показалось забавным такое сочетание слов. — Борода — голова, — повторил он весело. — Кадровый командир. Мы с ним в окружении встретились. Ты с ним по уставу действуй. А просьба есть, обращайся. Помогать он любит. Жили мы по-тихому, укрыто, — продолжал Иван. — А в последнее время две диверсии совершили. На дороге и на станции. Меня вот там кокнуло. Теперь ждем обратных действий. Главное, взрывчатки нет, оружия и патронов маловато. Месяц назад группу к нам забросили, так радиста...

Он не досказал, поднял пятерню, что означало: внимание!

Зашуршала плащ-палатка, показалась чья-то рука, а затем в землянку решительно шагнул человек. В нем с первого взгляда можно было узнать военного: прямой, подтянутый, собранный (о таком говорят «весь вылитый»), одним словом, военный. А кто он есть, догадаться было легко по черной окладистой бороде. Но и борода была «военная», аккуратная, верно, за ней тщательно следили.

И хотя на человеке были ватник, шапка, солдатские сапоги, все равно выглядел он, как командир. Прошел несколько шагов, видно — строевик.

Санитар, сидевший у огонька, вскочил.

— Кормил раненых? — властно спросил «борода».

— Ишшо не время.

— Их раньше всех.

— Слушаюсь.

«Борода» на ходу кивнул Ивану, подошел к Жаркову. Какое-то мгновение он рассматривал его, а Жарков, вспомнив наказ соседа, попытался приподняться на руках.

— Лежи, — приказал «борода», но голос его смягчился. Ему понравилась эта попытка. — Как самочувствие?

Ответить Жаркову не удалось. В землянку влетел запыхавшийся Филипыч, за ним тот, кого Жарков про себя назвал Патом, и еще каких-то двое.

— За теплом следить надо, — произнес «борода», стрельнув глазами в сторону Филипыча. — Чего-чего, а дров хватает.

— Конешно, конешно, — засуетился Филипыч, готовый сам тотчас броситься за дровами.

— Как раны? — остановил его «борода».

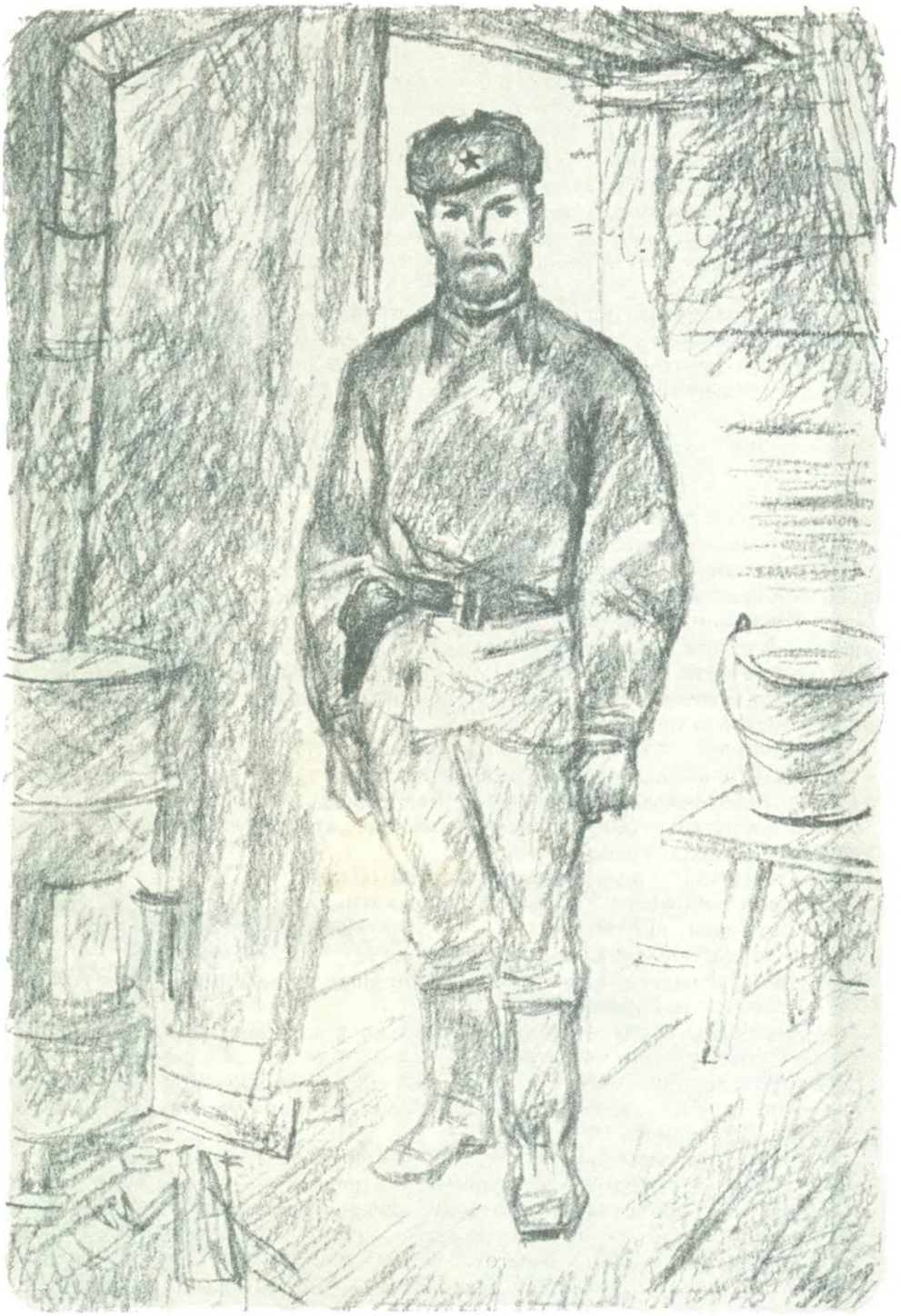
— Да говорит ничего, а трогать, мол, не надо. Простудился маленько. Аспиринчику давал.

— «Говорит», — хмыкнул «борода» и подсел к Жаркову.

Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза, но и за это мгновение Жарков понял, что «борода» добрый, что он сочувствует ему и что плохого от него ждать нечего...

— Где это случилось? — спросил «борода» после паузы.

— Точного ориентира дать не могу. При мне карты не было. Где-то в этом районе. Выходили из окружения. Нас разбили на группы... — тут он вспомнил о самом важном, в какой-то момент хотел сказать правду, но пересилил себя, — и нам... мне то есть особое задание... Секретный пакет... Туда... Большому начальнику... генералу... — добавил он для большей убедительности.



«Борода» не перебивал, и Жарков ощутил душевное облегчение: пронесло.

— Мы из лесу вышли. А от болота по нам. Но там немцев не было. Наши разведывали...

— Когда это было? — прервал «борода».

— В сентябре. В последних числах где-то.

Наступило долгое молчание.

— А вот помочь тебе пока не можем, — наконец сказал «борода». — Самолеты к нам не летают. Группу выбросили, так и то радиста потеряли. Связи нет. — Он решительно встал.—Будет. Ты поправляйся. Вижу, боец настоящий. — Он резко повернулся, пошел к выходу своей строевой походкой.

Уже взявшись за плащ-палатку, «борода» остановился.

— А за оружие, за сохранение его в твоих условиях, объявляю благодарность. А потом, ну когда поправишься, расскажешь о своих спасителях. Занести это в документы, — приказал он, обращаясь к Пату.

ГРАДУСЫ

Опять что-то стряслось с ногой Жаркова. Еще днем он почувствовал, что она разбухает. «Растревожили при перевозе», — думал он, стараясь этим объяснить новые ощущения. Вечером, особенно ночью, нога взяла свое. Жарков почти не спал до самого утра, все метался, стонал, прислушивался... А в ноге происходили странные явления. Она горела огнем, не вся, а только на месте самого ранения, там постукивали, позванивали железные молоточки. Этот перезвон-перестук больно отдавался во всем теле, в голове, в каждой маленькой частичке.

— Градусы, — объяснил Филипыч.

Он часто появлялся в землянке. Жарков видел его круглое, добродушное лицо, сочувственные глаза над собой.

— Севейстеры образовались, — сквозь тревожное ночное забытье услышал Жарков голос Филипыча.

— Севестры, — поправил его другой голос.

Жарков открыл глаза. Рядом с Филипычем опять стоял Пат. Неожиданно нагнулся, предложил:

— Глотните-ка, — и протянул фляжку.

Жарков услышал, как стучат собственные зубы. Вроде бы ему не холодно, весь в поту, а зубы стучат.

«Чего это?» — удивился он и невольно покосился на карман гимнастерки. Граната была на месте.

Жарков вернул кружку и незаметно просунул руку под гимнастерку. Приятный бархат как будто сам погладил его, как будто сказал: «Я тут, на месте. Успокойся».

И он успокоился. Уснул.

Разбудили его молоточки в ноге. Прежде чем проснуться, он услышал их перестук-перезвон. И ощутил жгучую боль, как будто ногу прижигали раскаленным железом.

От страха он даже вздрогнул и приподнялся.

— Чего тебе? — участливо спросил Иван. — Помочь я не могу, а позвать могу. Санитара, что ли?

— Не-е, — отказался Жарков. — Болит.

— Ты молодчага. Терпишь, — похвалил Иван.

Время опять потеряло счет. Ночь и день перепутались для него. Жарков то приходил в себя, то забывался, проваливался, и провалы эти становились все длиннее, а светлые моменты — короче.

Приходили товарищи. Простуженный, Филипыч, Пат, «борода». Он видел их как в тумане, как через стенку слышал их голоса.

— Может, разрезать надо?

— Инфекцию внесешь.

— Мне спиртовой компресс делали.

Жарков чувствовал и понимал, что ему перебинтовывают ногу, реагировал на это стоном и вскрикиванием, но говорить не мог.

Теперь уже не молоточки, а молотки больно звенели в голове, во всем теле. Казалось, что его куют, не переворачивая, на жарком огне.

Ему представилась сельская кузница. Весь прокопченный, черный как цыган дядя Макар и он, Жарков, на наковальне.

«А знамя? — ужаснулся он. — Оно ж испортится?!»

— Знамя! — закричал Жарков и очнулся от собственного крика.

— Ну чего? Чего кричишь? — спросил Иван. — При чем тут знамя? Или почудилось?

— Почудилось, — прошептал Жарков, в душе проклиная себя за эту, пусть несознательно, однако проявленную слабость.

«Надо же... Чуть тайну не выдал», — осуждал он себя, ощущая страх и не чувствуя боли в ноге...

Странное явление! Будто он своим криком выгнал боль, то есть не совсем, но частично, сейчас нога болела не так остро, и жар, вроде бы, спал...

— Фельдшера, бы, — попросил Жарков, еще не веря, что болезнь отступила.

— Филипыча! — басом повторил Иван. — Эй, Митроха, не слышишь? Зови своего коновала.

Когда прибежал Филипыч, Жарков уже точно знал, что болезнь отступила, что и на этот раз она отпустила его.

— Что-то потекло, — сообщил он.

— Ага, ага, прорвало, — засуетился Филипыч.

— Перевяжите, — попросил Жарков.

— Ну да, ну да, — согласился Филипыч, точно поблагодарил Жаркова за своевременную подсказку.

После перевязки Жарков некоторое время лежал неподвижно, не в силах произнести слова.

— Будто пустой, — выдохнул он. — Оболочка есть, а сил нету.

— Это уж так, — отозвался Иван. — Когда наболит, так вот и бывает. Меня под Халхин-Голом...

И он начал рассказывать историю своего старого ранения. Но Жарков уже не слышал, потому что настоящий, здоровый сон захватил его так, точно с лютого мороза его в теплую воду опустили.

Проспал он без малого сутки. Оказывается, приходил «борода», не только интересовался состоянием Жаркова, но и хотел узнать у него что-то важное.

— Эй, Митроха! — пробасил Иван, заметив, что Жарков проснулся. — Быстро за командиром... Не бойся, — успокоил он Жаркова, — «борода» велел, у него разговор есть.

Жарков насторожился, невольно просунул руку под гимнастерку и тотчас покосился на соседа: не заметил ли он этого движения?

— Не бойся,—повторил Иван.—Он мужик что надо и к тебе вообще...

Тут послышались твердые, печатные шаги. Появился «борода».

— Ожил?! — произнес он еще от порога и неожиданно улыбнулся.

Улыбка так шла ему, так его молодила, что Жарков подумал: «Чего же он редко улыбается? Наверное, считает: осудят или не так поймут. Ну и зря».

— Извини. Времени мало,— сказал «борода», приближаясь к Жаркову и вновь становясь строгим.— Я вот о чем... Где выходила ваша часть? Там, где она выходила, должно быть оружие, патроны, оставшиеся от убитых и раненых. Ты можешь указать район? — и он протянул Жаркову свернутую вчетверо карту-километровку.

Жарков покачал головой и, не заглянув в карту, сказал виновато:

— Не могу. Мы выходили ночью. Карты у меня не было.

— Ну хотя бы сказать можешь, сколько туда ходу?

— Мы шли всю ночь. А потом нас разбили на группы... И мы, уже своей группой, еще шли ночь.

«Борода» что-то прикинул и отметил на карте.

— И за то спасибо.

— Не обижайтесь,— попросил Жарков.— И в самом деле...

— Да что ты?! — остановил его «борода».— Ты — молодчина, настоящий боец. Поправляйся. При первой возможности мы тебя переправим.

«Борода» попрощался и ушел своим твердым шагом. Жарков еще долго слышал, как звенела промерзлая земля под его ногами.

— Ну, видел? — прогудел Иван, как будто Жарков о чем-то с ним спорил и не соглашался.— Он — ого! — помяни меня, большим начальником будет. Слышал, соображает, где оружие взять?!

Жаркова охватила слабость, и он опять задремал. Ему приснилось, будто бы Майка рвется искать оружие, а он ее не отпускает. Девчонка все равно убегает.

— Майка, вернись! Майка! — во сне закричал Жарков.

— Ну, чего опять? — раздался бас Ивана.— Какую еще тебе майку? Жарко, что ли?

— Жарко,— соврал Жарков, а сам подумал: «Это плохо, что я кричать стал. Так и проговориться могу».

Весь вечер он внушал себе: «Не кричать, а то проговорюсь. Молчать во сне, молчать».

Утром Жарков спросил Ивана:

— Опять я кричал?

— Да нет. Вроде не слышал. А и покричишь, так что?

— Тебе же спать не даю.

— Ну-у,— засмеялся Иван.— По мне орудия грохали, я и то спал. Солдатский сон — приказной. Он звуков не чует. Урвал часок — и дело. Хочешь, я тебе байку одну расскажу?

Он начал рассказывать, но Жарков думал о своем, о словах «бороды»: «При первой возможности мы тебя переправим».

«Что он имел в виду? Не понесут же меня на носилках через фронт? Да и где он, этот фронт? Сколько до него? Разве что самолетом. Вон челюскинцев с льдины снимали. Да-а, но там не стреляли, не сбивали...»

— Иван,— спросил Жарков,— а к вам хоть один самолет прилетал?

— Нет,— отозвался Иван.— Сбрасывали только. Так и то радиста не-

досчитались. А он для нас — главное.— Он подполз поближе к Жаркову, сообщил доверительно:— Связь есть через подпольщиков, но это... Сам понимаешь... Пока с ними свяжешься...

Зашуршала плащ-палатка, и опять показался «борода».

Он остановился у порога, объяснил:

— Чуть обогреюсь. Морозец. А ты,— он обратился к Жаркову,— пока подумай. Может, приметы какие вспомнишь, ну, то место, где шел бой. Понимаешь, так, наобум, посылать — пустое дело. Тем более зима, землю снегом присыпало.

— Муравейники! — воскликнул Жарков.— Там муравейники были. Мы ночью как раз и наткнулись. Сели, потому что мягкое, а потом, как ошпаренные, плясать начали.

Иван заржал и тотчас оборвал смех, покосился на командира. Но и тот улыбался.

— Это уже что-то,— сказал «борода», подходя к Жаркову.— Может, еще что?

— Еще?.. Мы пошли и на воду наткнулись. Болотце или озеро. Сначала под ногами зачавкало, а потом вода блеснула.

— И что?

— А тут бой начался. Они, вроде, прижали нас к озеру, а мы прорвались.

«Борода» посидел, покачал головой.

— Да-а... Ну, поправляйся...

Он уже дошел до дверей, и тут Жаркова осенило.

— Пожар,— произнес он.— Пожар был. Фашисты лес подожгли. Думали, мы там. А мы успели выйти.

— Молодец,— похвалил «борода».— Вспомнил-таки...

Он вернулся и пожал руку Жаркову.

— Товарищ командир,— расхрабрился Жарков, польщенный похвалою,— тут какое дело...— Жарков приложил ладонь к груди, но тут представил положение отряда в настоящий момент: не хватает оружия и боеприпасов, нет радиста, связь с Большой землей затруднена, только через подпольщиков, и осекся.— Да ладно... это я так... Извините...

ТРЕВОГА

«Борода» сдержал усмешку, подумал: «Да уже известно нам твое дело. Мы решили и тебя отправить, поскольку ты в настоящее время не вояка и дело твое... Вот только как?» Он помедлил, но, так ничего не сказав, козырнул Жаркову и вышел из землянки.

Заснул Жарков трудно и, когда его стали будить, даже обиделся. Открыл глаза — удивился. Будил сам Филипыч.

«Чего это? И в такую рань?»

Но, услышав голоса, еще больше поразился. Не вязалось — ночь и голоса. То, что сейчас ночь, он знал, чувствовал, за долгие месяцы одинокого лежания привык к ночным ощущениям: замиранию природы, затиханию людей, вязкости восприятия. «Но почему сейчас говорят и в землянке и на улице?»

— Проснись,— сказал Филипыч и улыбнулся ему, как ребенку.— Ехать надо.

Иван объяснил:

— Передислокация. Засекли нас, елки-палки.

Теперь и сам Жарков понимал, что творилось вокруг. Звенела земля. Переговаривались люди. Скрипели сани. Все спешили, как и положено по тревоге. Филипыч бестолково крутился, появлялся в землянке и исчезал, без конца наказывая санитару:

— Не забыть бы чего. Ты смотри не забудь.

Послышался знакомый простуженный басок:

— Известное дело. Я ж его сюда вез.

Он еще от дверей протянул Жаркову руку.

— Обратно ехать придется. Со мною. Не возражаешь?

— Если еще и песню споете,— отозвался Жарков, вспомнив, как они душевно пели про Черный Ерек.

— Это как придется,— ответил простуженный.

Еще появлялся Филипыч, приносил старые одеяла, которыми укрыли Жаркова и Ивана. Еще их поили на дорожку. Еще санитар и простуженный курили «по последней». Дым ел глаза Жаркову, но он молчал, не желая портить отношений с товарищами.

Время тянулось мучительно, и все стали спрашивать: «А кого мы ждем?»

Объяснил Иван, самый опытный красноармеец.

— Команды. Без команды нельзя двигаться.

Наконец началось шевеление. Земля над головой уже не звенела, а хрустела под тяжестью многих ног. Потом относительная тишина. Потом — беспокойный голос Филипыча:

— Подавайте.

Простуженный подсунул руки под Жаркова и начал прилаживаться, ища более устойчивое положение. Санитар хотел помочь ему.

— Справлюсь,— отказался простуженный.— Ты лучше Ивана готовь. А ты,— обратился он к Жаркову, — обымай меня. Не бойся.

Он легко и осторожно подхватил Жаркова, и тот удивился: «Похудел-то я как!»

На улице Жарков опять захлебнулся морозным воздухом. Вначале его обожгло, а потом он привык, и с радостью дышал, и все не мог надышаться. Голова сразу закружилась, и по телу прошла приятная дрожь.

Хотя его надежно укутали одеялами, Филипыч еще принес какую-то не то дерюжку, не то старый брезент.

— Надо, надо,— проговорил он.— А то простуду схватишь. Не долго, не долго. Организм ослабленный.

Над головой висело тяжелое, низкое небо, все набрякшее снегом. Но в лесу было тихо и сухо.

Освоившись, Жарков начал различать окружающее. Саней, оказывается, было несколько, целый маленький обоз. Перед собой он видел морду коня. Конь несколько раз наклонялся и выщипывал сено из жарковских саней. И возница незлобно покрикивал на него:

— Ну-у, язви тебя.

Вокруг были не только люди, причастные к медицине или приставленные к раненым, но и другие, совершенно незнакомые.

«Вероятно, охрана»,— догадался Жарков.

Опять ждали.

Мимо саней, поскрипывая сапогами, не раз проходил длинный человек, в котором Жарков не сразу узнал Пата — начальника штаба.

— Двигаться бы,— обратился к нему Филипыч.— Как бы не остыли.

— А дорогой им теплее будет? — усмехнулся Пат, но вскоре дал команду двигаться.

На Жаркова вдруг нашла такая слабость, что он заснул. Вероятно, сон был коротким, потому что, когда он открыл глаза, все еще стояла ночь, они так же ехали по лесу. Скрипели полозья. Негромко переговаривались люди. Над головой висело небо и падал тихий снег. Снежинки опускались на лицо и щекотали кожу.

Почему-то выплыли стихи:

На осенний лед
Падают снежинки.
Падают, и вьются,
И грустят о лете.
Видится им блюдце
Лужи на рассвете...

Жарков стал думать, откуда он их знает. И вспомнил: Майка читала. Стишок ее брата Юры. «Наверное, славный этот Юра». Он попробовал представить Юру, но его отвлек разговор возницы с простуженным.

— Ежели боле ста, то не успеем. Ночь, это самое, пройдет, да и коню отдых надобен.

«Действительно, куда мы едем? — заинтересовался Жарков.— Если больше ста километров, то и за две ночи не осилим. А днем опасно. Мы же, вроде, от опасности и уходим, в смысле, от окружения... Это хорошо, что пошел снег. Он заметет следы. Но все-таки куда мы едем?»

Жарков чуть было не спросил об этом простуженного, но сдержал себя.

«Борода» впереди. Командир знает. Кто-то же сообщил о готовящейся операции немцев. Кто-то же сказал, куда передислоцироваться».

Жарков успокоился. Мысли его отвлеклись, перекинулись на воспоминания детства. Как они, ребятня, любили, когда идет снег, особенно первый. Снег—это, прежде всего, строительный материал. Это снежная баба, горка, а для них, мальчишек, главное — крепости можно строить. Ах, какая у них во дворе одну зиму крепость была! С башнями, с амбразурами, с флагом на шпиле. Какие сражения развертывались! А командовал Гриша Устинов. «Где он теперь? Его еще раньше меня взяли. Он на год старше оказался. Может, воюет! А может, также вот ранен, в госпитале или в тылу, у какой-нибудь бабки Христи».

Нет, не получилось воспоминание. Жизнь была перечеркнута войной, и то, что было до войны, казалось таким далеким и таким нереальным, почти сказочным, будто тогда, до этой огненной черты, жил другой человек, а не он, Митя Жарков.

Щемящая грусть овладела им. Чтобы хоть как-то отвести ее, Жарков неожиданно даже для себя попросил:

— Спели бы.

— Э-э, проснулся,— отозвался простуженный.— Не замерз еще?

— Пока ничего,— ответил Жарков и тотчас ощутил, что у него мерзнут пальцы.

Он машинально засунул руки за пазуху и сразу согрелся, словно к теплой печи прикоснулся. И тут подумал: «А что, если объявить тайну командиру? Что, если отдать знамя ему? Он старше. Он коммунист, наверно? —

Жарков задохнулся от этой мысли, настолько она показалась ему дерзкой и невероятной.—А как же задание? А ради чего же я перенес столько? Ну, перенес, — это само собой. Но мы ж получили особое задание. Я своими ушами слышал, как командир давал его политруку. Политрука убили. Старшину Дробота убили. Кузькин убежал. Остался я один. И осталось особой важности задание командования... Но и здесь командиры. Они ж советские люди. Они... А что они? Тоже не у себя дома. Вот от немцев утекаем...».

— Так спели бы, — снова попросил Жарков, желая пресечь непрошеные сомнения.

— Волки вот,— неожиданно произнес возница.

— И верно,— подтвердил простуженный.— Глаза горят.

Он щелкнул было затвором, но тут же опустил винтовку.

— Приказано не стрелять.

Лошадь вдруг дрогнула и попыталась свернуть с дороги.

— Но-о! — удержал ее возница.— Не боись. Мы тута.

Конь прибавил ходу, и сани заскрипели протяжно.

Грохнул выстрел. На соседней подводе кто-то не выдержал. Тотчас послышались резкие слова.

Весь этот шум взбодрил Жаркова, как бы укрепил его.

«Оно ж мое, наше знамя,— подумал он, отметая свои сомнения.— Я ж под ним воевал. Значит, мне и надо...»

И оттого, что он отвел колебания и принял верное решение, ему сделалось легко и радостно, так радостно, что он в третий раз попросил:

— А все-таки спойте.

Простуженный помедлил и наконец уважил настойчивую просьбу. Он откашлялся и затянул хрипловато:

При лужке, лужке, лужке,
При широком поле.

Песню негромко подтянул возница:

Эх, при высоком ковыле
Конь гулял по воле.

Скрипели сани. Падал снег. Вокруг было белым-бело. Жаркову казалось, что они едут в белую сказочную страну, где нет ни войны, ни раненых, ни боли, где он снова увидит детство, отца, мать, брата, своих дружков и товарищей.

Эх, при высоком ковыле
Конь гулял по воле...

ПОГОНЯ

Жарков опять уснул, потому что не помнит, что происходило между песней и теперешним состоянием. С песней было уютно и спокойно, а сейчас какая-то неустойчивость и тревога. Он почувствовал это, еще не открывая глаз. Во-первых, они остановились. Во-вторых, кроме знакомых голосов простуженного и возницы слышался третий голос.

— С трех сторон будто.. С собаками... На транспортерах...

Жарков вначале подумал, что говорят о чем-то их не касающемся, но последние слова о транспортерах его насторожили.

«В тылу транспортеры — это что-то важное».

— Наш будто принял решение не принимать бой. Главную дорогу приказал заминировать. На других завалы сделать.

Теперь Жарков понял, что разговор относится к ним. Речь, очевидно, идет о погоне. Немцы идут следом.

«Конечно, на транспортерах-то быстрее,— с горечью рассудил он.— К тому же мы стоим, а не едем».

Он открыл глаза. Они стояли в лесу. Над головой серело небо, значит, уже рассвело. Было видно, как над соснами клубятся облака, точно перестилают друг дружку. В ногах у него сидели возница, простуженный и незнакомый парень в штатской одежде.

Сейчас бойцы курили, и резкий дым самосада долетал до Жаркова.

Простуженный заметил, что он проснулся, кивнул приветливо:

— Привет. Жрать хочешь? Фельдшер приходил, спрашивал.

И, не дожидаясь ответа Жаркова, он пошел в глубь леса.

Вернулся вместе с фельдшером. Жарков вначале и не узнал Филипыча. И так он был круглым, толстым и маленьким, а тут, в старом полушубке, с вырванным клоком на борту, в большой шапке из овчины,— вообще казался смешным колобком, который катится и разговаривает одновременно.

— Самочувствие ничего? Держаться надо. Держаться,— заговорил Филипыч еще издали.— Главное, не замерзнуть. Замерзание — плохой признак.

Простуженный протянул кусок сала и хлеб.

— Вот то-то, так-то,— приговаривал Филипыч, видя, что Жарков сладко ест.

Они простояли в лесу целый день, без происшествий и без особых событий. Кроме утреннего, случайно услышанного Жарковым разговора, никаких сведений и слухов о преследовании не было.

«Да и те, наверное, просто слухи»,— думал Жарков. После сытной еды на свежем пьянящем воздухе ему лежалось легко и думалось спокойно. Но одна, случайно пришедшая мысль занимала его беспрерывно. Он вдруг вспомнил о политруке и старшине Дроботе, о том, как он не сумел захоронить их, а только сверху, насколько хватило сил, забросал ветками. Так вот они и лежат под снегом, так вот и мерзнут. Он совсем забыл, что дед Федор похоронил их.

Жарков понимал, что это нелепо, что мертвым ни холодно, ни жарко и все равно где лежать, под снегом ли, в земле ли, но не мог избавиться от этой мысли и от чувства своей невольной вины перед товарищами.

«Сколько их за войну-то полегло, — утешал он себя.—Я и то сколько повидал убитых. Лежат где попало, схоронены кое-как...»

Но чувство виноватости не проходило, а терзало ему душу, сжимало непривычной болью.

Раздался взрыв, похожий на гром, внезапный и раскатистый.

Все на мгновение замерли, а потом заговорили все сразу, у всех подвод.

— Мина сработала,— произнес простуженный.

Лошадь фыркнула и дернула сани.

— Тпру-у, язви тебя,— прикрикнул возница и, устыдившись своей неправоты, добавил извинительно:— Не пора еще.

Кто-то бежал по дороге, останавливался у саней и вновь бежал.

— Вот что,— услышал Жарков запыхавшийся голос.— Трогаемся. На развилке, это километра через три, вы повернете налево, за первой подводой. Ехай, ехай, не сворачивай. А к утру, примерно, обратно развилка будет, так налево. Там соединимся. Там озеро.

Жарков запомнил весь маршрут, хотя править подводой предстояло не ему и сказано было не по-военному.

«Из гражданских парень», — подумал он о том, кто передавал маршрут.

Они тронулись. Вскоре волнения улеглись. В лесу было спокойно. Ничто, кроме недавнего далекого взрыва, не напоминало об опасности.

Скрипели, повизгивали на поворотах сани. Молчали люди.

— Дорогой-то на ночь-то побоятся, поди,— первый произнес возница.— Немцы-то ночью-то не воюют.

— Пулемет бы нам,— после долгой паузы отозвался простуженный.

«Вот бы мой «дегтярь» сейчас,— подумал Жарков.— Где он теперь, чье плечо давит?»

И опять ему представились убитые политрук и старшина Дробот.

Вот наваждение! Столько времени прошло — не вспоминались, а сегодня! Жарков не верил в приметы и не знал их, но сейчас эти воспоминания показались недобрыми. Он потряс головой и прикрикнул сам на себя: «Ну вот еще! Чего это я?!»

В конце концов тишина и поскрипывание саней сморили Жаркова. Он задремал. Ему даже сон приснился. Будто бы стоит он на своих ногах, только от слабости держится обеими руками за дерево. А перед ним генерал, только... немецкий, белобрысый, с моноклем на шнурочке. Генерал будто бы велит отдать знамя. А Жарков — руку на кольцо — приказывает: «Или вы отправите меня со знаменем к своим, или я взорву знамя, и себя, и вас вместе...».

— Тихо, тихо, — услышал он голос простуженного и сразу проснулся.

Они стояли в лесу и вслушивались в тишину. Подле саней находились еще люди, очевидно, с первой подводы. Все затаили дыхание.

— Слышу,— за всех ответил Жарков.— Собака тявкает.

— О! О! — не то похвалил, не то согласился простуженный. — Это они с ищейками. Фашисты всегда с овчарками в поиск идут.

Простуженный помедлил, досадливо крякнул и исчез куда-то.

— В порядке, — сообщил он, возвращаясь через некоторое время.— Последний самосад высыпал. Теперь след не возьмут.

Он говорил полушепотом. И все разговаривали едва слышно. Жаркову показалось, что лошадь и та замерла на мгновение.

— Что у нас есть из оружия? — спросил простуженный, взявший на себя роль командира. — Два винтаря. У Микиты наган... А это... — он обратился к Жаркову, — «лимонку»-то дай.

— Не-е,— отказал Жарков, хватаясь за кольцо.

— Так ведь...

— Не-е... у меня ж пакет.

— Ну, ладно.

— Двинули,— приказал простуженный, и сани, осторожно скрипнув, покатили по ненакатанной дороге.

Вновь послышался собачий лай. Он приближался.

— Не помогло, — с досадой произнес возница.

— Обошли,— объяснил простуженный.

Он перебрался в задок саней, щелкнул затвором.

— Нас-то... раненого-то укрыть надо,— предложил возница.

Простуженный махнул рукой, что означало: он знает, что делать, и в свое время подаст необходимую команду.

Жарков приподнялся на руках, стараясь разглядеть что-нибудь на дороге. Но позади был такой же лес. Одинокие деревья были похожи на затаившихся великанов, и поскольку они не двигались, это было нестрашно.

— Сворачивай,— приказал простуженный после напряженного молчания.

«Вот она — примета»,— подумал Жарков, вновь вспоминая уже не мертвых товарищей, а свои неожиданные воспоминания.

— Но, язви тебя,— вполголоса выругался возница, но лошадь, будто понимая момент, сама повернула в другую сторону и свернула не налево, а направо от дороги.

Ком снега свалился с дерева и осыпал их мелкой крошкой.

— О, дьявол, напугал,— прошептал возница.— Ты ничего?

— Ничего,— отозвался Жарков.

Простуженный стоял неподалеку, но его не было слышно. До Жаркова долетело приближающееся тявканье. Оно напомнило соседского Шарика — черную ласковую, но крикливую собачонку, которая вот так же тявкала, когда они, ребятишки, съезжали с горки.

— Это не овчарка,— не удержался Жарков.

Возница не ответил, будто не расслышал.

— Не овчарка, говорю.

— Цы-ы! — прицыкнул возница.— Вот обнаружат. Что мы без оружия?!

Но Жаркову показалось, что они могут понаделать нехороших дел, он побоялся этого и произнес во весь голос:

— Это не овчарка. Эй!

Тут до него донеслись близкие голоса, и вскоре вместе с простуженным появился невысокий старичок с берданкой за спиной, с дворняжкой впереди.

— Ну вот! — воскликнул Жарков.

Все обрадовались такому счастливому повороту дела, заговорили громко.

— С тебя, слышь, приходится,— сказал простуженный.— Я из-за твоего волкодава полкисета табаку на дорогу высыпал.

Старик прихлопнул себя рукавицами по бедрам и засмеялся искренне и задорно, как мальчишка. Неожиданно он остановился и обратился к собачке, как к человеку:

— Ить чихнула... Теперь понятно? — Он взвизгнул и опять засмеялся.— Табак высыпали, следы оставили...

— Смех смехом,— оборвал его простуженный,— а чего по ночам ходишь?

— Так ить...— старичок закашлялся. И каждый раз, когда его спрашивали, он сначала долго кашлял, потом отвечал с паузами, обдумывая каждое слово.— Есть охота. Думаю, дай зайчишков постреляю. Они тута...— он покрутил головой. Кругом был лес.— Нет, тама...

Всем стало ясно, что он говорит неправду, но ясно и другое: старичок свой, и зла от него ждать не надо, и собачка у него добрая и никакая не охотничья. С такой на охоту ходить — только все дело портить.

— Ты вот что,— сказал простуженный.— Ты о нашей встрече...

— Так ить... На память слаб.— И старичок опять засмеялся, хрипловато и протяжно. Не то кашлял, не то смеялся.

— И еще,— продолжал простуженный,— раненый у нас. Может, кормежка при себе есть?

Дед посуровел, наклонился над Жарковым, словно желая проверить справедливость услышанных слов, и полез за пазуху.

— Вот, полопай,— и он протянул Жаркову домашней выпечки лепешку.

Лепешка была еще теплой, приятно согревала руки (тут снова Жарков почувствовал, что он замерз) и вызывала аппетит. Он видел, что и возница, и простуженный сглотнули слюнки.

— Отламывайте,— он протянул лепешку.

— Ешь,— отказался простуженный и резко отвернулся от Жаркова.— Ехать надо.

— Так ить, — встрял старичок, — дрожит парень. Дрожжи, мол, продает... На-ка, — он сдернул с себя рукавицы и протянул Жаркову. — Ну-ну, бери, поправляйся.

А Жаркова бил озноб. Он боялся одного — как бы товарищи не услышали, что у него стучат зубы.

НОВЫЕ ЛЮДИ

Знобило так, как никогда еще не знобило. Не только он весь дрожал, но и в нем все дрожало. Знобинки как бы прошивали его насквозь мелкими бесконечными иголками, Жаркову чудилось, что не он сам, но и сани, и товарищи, и даже лошадь дрожат вместе с ним. Временами он куда-то проваливался, но озноб снова возвращал его на место, хотя место это оказалось уже не санями, не лесом, а полумрачной землянкой, промерзшей в углах.

Придя в себя, Жарков первым делом сунул руку под гимнастерку. Знамя оказалось на месте. А вот карманы были пусты. Спасительная «лимонка» исчезла.

Жарков огляделся. В углу, у самодельной свечи, спиной к нему сидел человек, не то читал, не то дремал.

— Э-э, — хрипловато протянул Жарков. Голос был слабым. Он сам себя еле услышал. Жарков вдохнул поглубже, весь напрягся. — Товарищ... Тут было...

— Сплыло,— ответил сидящий, не оборачиваясь и не меняя позы.

— Пакет.

— Паркет.

Человек говорил как-то странно: или не понимал Жаркова, или придуривался.

У Жаркова не было сил спорить и доказывать. Он замолчал и вновь задрожал, но теперь уже от нервного напряжения. Жаркова возбудил не столько сам факт исчезновения «лимонки» и документов, но больше то, как этот человек отреагировал на его обращение. За все месяцы болезни Жарков встречал разных людей, но почти всех их объединяло одно: чуткость, внимание, желание помочь ему, раненому красноармейцу. Он так привык к этой чуткости, к тому, что люди тотчас откликались на все его просьбы и по возможности выполняли их, так привык к сочувствию, к добрым словам, что сейчас был просто обезоружен грубым ответом сидящего к нему спиной человека.

«Да свой ли он? Нормальный ли? Понимает ли, о чем идет речь?» По смыслу выходило — понимает, но по ответам... «Странный какой-то,— решил Жарков.— Нет, к нему я больше обращаться не буду. Но

как быть? Ведь граната необходима. Она моя защита. Знамени защита. Мало ли чего... А документы... Ну, они-то, надеюсь, не пропадут... И тут его в пот бросило.— А пакет? На самом-то деле никакого пакета нет... Они узнали. И что теперь?..»

Жарков стал энергично думать, искать выход из создавшегося положения.

«Да все очень просто,— успокоил он себя.— Очень даже объяснимо. А пакет и не в кармане. В кармане «лимонка»... А пакет у меня под повязками спрятан».

Он вздохнул облегченно и покосился на человека. Тот как сидел, так и продолжал сидеть без движения, точно манекен. Жарков так и назвал его для себя — Манекен.

Тут он заметил, что в землянке кроме нар стоит еще железная кровать. Как она здесь очутилась? Откуда взялась? Но факт оставался фактом: кровать стояла и на ней кто-то лежал, накрытый с головой старой шинелью.

Впрочем, Жаркову пока что не до кровати было и не до того, кто там лежит.

«Как же вернуть? — мучительно думал он.— Прежде всего, «лимонку» надо вернуть... Хоть бы из наших кто пришел».

Он с теплотой стал вспоминать Филипыча, Пата, «бороду», простуженного, как будто это были родные люди. Да так и есть. Война роднит. Война разделяет, но и сближает людей.

«Ай, о чем я?! — озлился на себя Жарков.— Тут такое серьезное дело».

— Пить,— попросил он, сообразив кое-что.— Пить,— повторил Жарков погромче.

Манекен не пошевелился, но распорядился мальчишечьим голосом:

— Коробок, напой новенького.

«Ну и тип!» — в душе возмутился Жарков.

На нарах кто-то зашевелился, и через несколько секунд перед Жарковым предстал заспанный парень, который и не скрывал от него зевоты. Зевал и протягивал Жаркову кружку.

«Да что же это такое? — думал Жарков.— И как же мне теперь быть?.. Так они и до знамени доберутся. А мне и защитить его нечем».

Выход был один: обратиться за помощью к кому-то из знакомых, лучше бы к «бороде», к Пату. Но никого не было. По всем приметам стояла ночь. Люди спали. Жаркову оставалось ждать утра.

— Жарков,— неожиданно произнес Манекен. Настолько неожиданно, что Жаркову показалось, что ему почудилось, будто произнесена его фамилия. Он насторожился. — Жарков, — повторил Манекен, — политрук и старшина погибли?

— Ну-у,— нерешительно протянул Жарков.

— Хороший был,— посочувствовал Манекен.

«Кто именно?» — хотел спросить Жарков, но не спросил, потому что был поражен вопросами Манекена.

«Почему он поинтересовался? Какое ему-то дело?»

Жарков мучился, стараясь решить эту задачу со многими неизвестными. Манекен молчал, но Жарков улавливал по этому особому молчанию, что ему еще хочется поговорить, что есть что-то такое, что и его держит в напряжении. Он как-то весь напрягся, выпрямился, будто подготовился к броску.

«Еще и любопытный, как баба»,— осудил про себя Жарков.

— А я... я... к другой группе пристал,— вдруг признался Манекен.— Предлагал к вам идти, да капитан отставил.

Жарков еще больше запутался. Говорит этот Манекен вроде о чем-то подходящем, но о чем? И почему он — сей Манекен — об этом говорит? Манекен первым не выдержал, еще не оборачиваясь, но уже привставая, сообщил:

— Кузькин я... Красноармеец Кузькин.

Жарков чуть было не вскрикнул. Ведь если это Кузькин, то он тогда удрал, но если то, о чем он говорит, правда, тогда он ни при чем, к тому же он в отряде, против фашистов борется.

И тут другая мысль вышла на первое место.

— Слушай, Кузькин,— зашептал Жарков, делая вид, что и признает его, и все понимает, и все прощает.— Гранату-то мне надо. При мне важный пакет. Он под повязкой... Ты ведь... Мы же особое задание выполняли... Может, не знаешь...

— Раз ты мне поверил,— сказал Кузькин и решительно поднялся. Жарков тотчас узнал его — долговязого, долгорукого — и на мгновение обрадовался.

— Гранату-то надо... Я ж честно...

— Гранатку сами военврач взяли.

Утром Жаркова ожидал новый сюрприз.

Еще когда они находились в карантине и старшина Дробот учил их армейскому уму-разуму, был у них в роте заводной парень. Фамилии Жарков не запомнил, потому что все, в том числе и сам старшина, звали его Балагуром. Есть такие неуемные, непоседливые дети: крутятся, шалят, смеются, рта не закрывают. Их зовут юлой, ртутным шариком. А этот Балагур до взрослых лет, до армии остался таким юлой. Балагурил он без конца, с подъема до отбоя. Постоянно получал замечания от старшины. Но когда они вошли в бои, Балагур оказался храбрым красноармейцем и очень необходимым человеком. Сам старшина бывало говорил: «Чего приуныли, орлы? А где наш Балагур? Ну-ка, вырази чего-нибудь, подними моральное состояние». И Балагур выражал.

Так вот, после подъема, после измерения температуры выяснилось, что напротив Жаркова, на единственной, неизвестно как здесь очутившейся кровати лежит человек, внешне похожий на того самого Балагура. (Жарков даже подумал, что он кровать эту сам для себя где-нибудь выкопал. Но позже он понял, что догадка его ошибочна. Не мог Балагур этого сделать. Без ноги лежал.)

Как только Балагур проснулся, тотчас заговорил:

— Синятары,— он искажал слово, но звучало это не обидно, добродушно-шутливо. Санитары заулыбались.— Синятары, у меня чэпэ.— Тут Балагур заметил Жаркова и оборвал свое балагурство.—Может, мешаю?

— Ничего,— отозвался Жарков.

— Это вместо физзарядки,— объяснил Балагур.— Мы танцевать не искусны, нам бы потрепаться.

И он рванул частушку:

Хорошо тому живется,
У кого одна нога.
Сапогов он мало носит,
И штанина-то одна.

Жаркову было совсем не весело, а санитары смеялись.

Внезапно смех оборвался. В землянку вошел военный, при форме, при шпалах в петлице, стройный и высокий. Было странно узнать, что это всего-навсего военный врач и он пришел осмотреть новенького, то есть его, Жаркова.

Войдя, военврач по-врачебному начал потирать руки, на ходу задавать вопросы санитарам.

— Спал? Ел?

Он сел подле Жаркова, кивнул ему приветливо и посмотрел пристально, прямо в глаза.

— Так расскажите, на что жалуетесь?

Движения у него были уверенные, поведение твердое и голос мягкий, располагающий. От всего этого Жарков поначалу даже растерялся, ведь за время всех его мучений, с момента ранения он впервые столкнулся с настоящим врачом.

— Должно быть, воспаление легких или опять секвестр выходит, потому что знобило...

— Я не о том, — прервал военврач. — Я о жалобах. Вот озноб... Еще что?

Он вывел разговор в нужное русло и стал слушать.

А Жарков волновался все больше: «А вдруг и осматривать начнет? А что, если и грудь велит развязать?»

Он начал невпопад отвечать на вопросы, военврач спокойно поправлял его и терпеливо переспрашивал.

— А грудь трогать не надо, — не выдержал Жарков.

— Я ж пока не об этом.

— Мне врач наказал, — солгал Жарков.

— Чего вы тревожитесь? Успокойтесь.

Военврач пощупал пульс, посмотрел горло, послушал дыхание и к великой радости Жаркова заключил:

— По-видимому, опять очаговая пневмония. Вас в госпиталь надо, но... — он развел руками. — При первой возможности... — Он как-то странно подмигнул обоими глазами и похвалил неожиданно: — Молодец!

— Товарищ военврач, — осмелел Жарков. — Гранату бы? Вернули бы?

— Зачем?

— Привык я к ней... Спокойней как-то...

— Не нужно. Теперь я за тебя отвечаю... За всё, — многозначительно добавил военврач, опять подмигнул обоими глазами и ушел из землянки.

ПЕЧАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

Стало спокойнее и веселее. Пришли с задания товарищи. Появились Пат, Филипыч, простуженный. Жизнь вошла в привычную, добрую колею. И здоровье улучшилось. Температура спáла. Сон наладился. Но душа...

Хотя душе особенно некогда было проявлять себя. Как прорвало: с утра до вечера у Жаркова гости, точно им подали команду не остав-

лять его одного. И военврач не обращал внимания на посетителей, лишь иногда предупреждал:

— Не очень его утомляйте и... не прикасайтесь к нему.

Формально заходили будто бы навестить Жаркова и послушать Балагура, но Жарков чувствовал: чего-то не договаривают товарищи, что-то утаивают. Простуженный заикнулся было:

— А мы в твоей Лесухе побывали...— и запнулся.— Ты-то как?

Филипыч лепешки домашние принес.

— Это от старичка, не из Лесухи, а того самого, с собачкой.

Всех прерывал Балагур.

— И что я во сне видел,— он обращался к санитару Коробку.— Будто бы мы с тобой по пьяному делу в райский сад залезли.

Товарищи затихали и окружали кровать Балагура, впрочем, так, чтобы не заслонить его от Жаркова.

— Ну вот... Залезли и только райских яблочков хотели нарвать для закусона, нас — цоп! И к богу. А он повелел окунуть нас в бочки с дегтем... А потом говорит: «А ну облизывайте друг друга».

Слова Балагура покрыл хохот товарищей. Смеялись не столько над анекдотом, сколько над сконфуженным простоватым Коробком.

Но люди ждали частушек — коронного номера Балагура. Балагур, однако, не спешил, раздавал шуточки-прибауточки направо и налево.

— А знаешь что,— уловив паузу, сообщил простуженный.— Лесуху-то твою спалили.

— Как спалили? — встрепенулся Жарков.

— Чего теперь. Ты не волнуйся. Война.

— Расскажи.

— Да как-нибудь.

— И-ах! Ты почо меня ударил
Кирпичиной по плечу?
— Я пото тебя ударил —
Познакомиться хочу.

Балагур вошел в раж. Ребята смеялись. В землянке стоял хохот. Было, действительно, не до разговоров.

Теперь Жарков ожидал спокойного дня и простуженного со своим рассказом. Но он опять куда-то исчез.

— Обратно на задание,— объяснил Кузькин.

Появился Филипыч, и Жарков обратился к нему с тем же вопросом.

— На задании, это самое, — подтвердил Филипыч.— Он, это самое, разведчик коренной.

Он сказал о человеке, как о лошади, и это рассмешило Жаркова.

— Получше стало? — спросил Балагур, заметив его улыбку.— И правильно. Дух — всему командир.

И он по обыкновению запел:

И-эх! Ахи-ахи-аханьки,
Каки девчонки махоньки,
Целоваться — нагибаться,
Провожать — в карман сажать.

Простуженный пришел с незнакомым мужиком, но как только мужик заговорил, Жарков вздрогнул. Болезнь обострила в нем внимание к голосам. Часто по ним он отличал людей, одного от другого. Этот голос отчетливо напоминал толмача-полицая.

Жарков тотчас вспомнил тот напряженный день. Неожиданное появление немцев. Свое состояние. Дрожащего мальчишку на печи. Вспомнил, как бабушка Христя угощала немцев самогоном, а он негодовал по этому поводу. Вспомнил, как этот толмач-полицай почему-то пожалел стариков и отстоял их хату. Подожгли соседский пустующий дом.

— Узнаёшь? — спросил простуженный у незнакомого мужика.

— Откуль? — отозвался тот.— Я ж только ногу видел.

— А ты? — обратился простуженный к Жаркову.

— По голосу,— признался Жарков, не зная, как реагировать на приход этого толмача-полицая.

— Наш человек,— сообщил простуженный и хлопнул мужика по плечу.— Ежели бы не он, зацапали бы нас в лесу. Целый отряд шел, с полк будет.

— Ну-у,— возразил мужик.— Сотни две с полицаями вместе. Ну и транспортеров пара. Вооружение, конечно.

— Все равно,— сказал простуженный.— У нас-то ни оружия, ни патронов. Это сейчас мы малость разбогатели...

— А сказать, как наш Иван немчуришку-генерала без ничего одолел? — вмешался Балагур.

— Сказать, только в другой землянке,— ответил вошедший военврач.— Там ты сейчас нужнее... Не волнуйся,— успокоил он Жаркова.— Сюда новенького переведем. Тоже не скучный парень. У него иной разговор — стихи.

— Да, да,— согласился Жарков для приличия.

Сейчас его интересовало другое. Улучив момент, он попросил простуженного:

— Расскажи.

Тот неохотно подсел поближе, чтобы разговор был только между ними, снял шапку. Жарков впервые разглядел его вблизи. На вид лет ему было чуть больше, чем Жаркову, но легкие морщины у глаз и у рта и надломленная складка меж бровей делали его старше, точнее сказать, серьезнее, что ли. Зато глаза, светло-серые, почти голубые, открытые — оживляли, меняли парня.

Жарков внутренне напрягся.

— Рассказывай.

— Да ведь расстроишься?

— Я и так не очень. Неизвестность еще хуже.

Простуженный помедлил и произнес не раз слышанную Жарковым фразу:

— Спалили твою Лесуху.

Жарков ждал. Простуженный глубоко вздохнул, и Жарков понял, что ему самому нелегко говорить об этом. Но он все-таки пересилил себя.

— Я все видел. Я ведь в деревне был, в той самой бане, в которой тебя укрывали. Она, кстати, осталась. Там теперь и живут старики и... мальчонка,— добавил он после паузы.

— Там было два парнишки,— заметил Жарков.

— Было,— подтвердил простуженный.— Одного убили. Когда девчонку стали брать, он за нее заступился, фрица за руку цапнул, ну и...— Простуженный говорил бесстрастным тоном, и это поначалу не то что возмущало, но как-то бередило Жаркова, но потом он понял, что простуженный изо всех сил сдерживается, а эта монотонность и бесстрастность еще больше усиливают впечатление. Ему уже невмоготу становилось от

этих обычных ровных слов. — Убили паренька, и тогда эта, ну, которая с самогоном...

— Ковалиха,— досадовал Жарков.

— Она... Вилами...

— А ее?

— Убили. Но и она успела. Как сноп, немчуришку поддела.

— А Майка, та девушка?

— Так она ж с берданкой выскочила. Убегла. В лесу скрылась. Я искал, да где там...

Простуженный замолк, и было видно, как за эти минуты морщинки его углубились, вроде бы их появилось больше, и русые волосы упали на лоб. При тусклом свете коптилки они казались светлыми, почти седыми.

— Ведь говорил,— произнес простуженный, взглянув на Жаркова. Очевидно, и у него вид был не совсем хороший.

— Нет, нет. Ничего.

Перед глазами Жаркова все стояли те люди, его друзья и спасители, не только его, но и знамени.

«Теперь-то,— мысленно поклялся он.— Сейчас-то непременно я должен вынести его. Непременно».

Он хотел сказать простуженному что-то бодрое, да не успел. В землянку внесли новенького — Юру.

ЮРА

Так он и отрекомендовался прямо с носилок:

— Здравствуйте. Меня зовут Юра.

Двойной свет: с улицы — плащ-палатка была откинута и от коптилки — так освещал его лицо, что оно казалось желтовато-белым, как на картине, с четкими чертами. Жарков разглядел молодые усики кончиками вниз и невоенную прическу — челочку. И усики и прическа очень шли к его чуть удлиненному лицу и вызывали удивление, потому что никак не вязались ни со временем, ни с обстановкой.

— Я из Подмосковья,— продолжал Юра, как только его уложили.— А вы?

Его доверчивость и откровение вызывали расположение, и Жарков как-то сразу проникся симпатией к этому парню и тоже открылся.

Весь этот день они рассказывали друг дружке, и им было интересно слушать. Лишь об одном умалчивал Жарков: о знамени. Было и еще одно обстоятельство, которое все больше волновало его. Как только парень появился в землянке и назвался Юрой, Жарков тотчас вспомнил Майку, ее бесконечные рассказы о брате, и подумал: «Быть может, это он?» С каждой минутой, с каждым новым словом он все больше убеждался, что близок к правде, что первоначальная догадка его почти точна. Это было странно, необыкновенно, это было как в кино, но это было так. Юра — это Юра, он из Подмосковья, и сестренка есть, и она уехала в здешние места и пропала. А сам он стихи пишет.

— А вы любите поэзию? — спросил Юра.

— Только хорошую, — признался Жарков. — Ну, например, Лермонтова.

— О!— воскликнул Юра.— Это мой любимый поэт.

«Он, он»,— с досадой и болью думал Жарков. С одной стороны, вроде бы и радостная неожиданная встреча с любимым Майкиным братом, с другой — горькая, потому что девушки-то нет. И неизвестно, где она. Только час назад простуженный говорил об этом.

«Вот я с ним встретился, а она... нет, она не погибла... не такая она...»

Жарков размышлял о дальнейшем своем поведении: «Как теперь быть? Он же, этот Юра, не знает о своей сестренке. А она все надеялась, все спрашивала меня: «А вы думаете, он живой?». А теперь он... он не знает, что она где-то близко. И что же мне?»

Жарков посмотрел в сторону своего нового, такого приятного товарища, увидел его разгоряченные глаза, руку в бинтах и решил: «Нет. Не могу... Не должен... Как-нибудь при случае, а сейчас ему силы нужны».

— Если хочешь, почитай Лермонтова,— попросил Жарков, переходя на «ты», как бы приближаясь к парню. Попросил с хитринкой: выиграть время и прийти в себя, ведь за короткие минуты его будто из ледяной воды в кипяток окунули.

— Тебе что? — с готовностью отозвался Юра.— Что больше нравится?

— Да многое...— Жарков вспомнил Майкино чтение.— «Демон», например.

Юра сделал паузу, словно набираясь сил, и начал негромко и протяжно:

Печальный демон, дух изгнанья,
Летал над грешною землей.

Жарков уловил интонацию, и она потрясла его. Так же читала Майка. Очень похоже. Слышался не только смысл слов, но и музыка стиха.

Тех дней, когда в жилище света
Блистал он, чистый херувим,
Когда бегущая комета,
Улыбкой ласковой привета...

Теперь эти стихи были дороги Жаркову и как воспоминания о Майке. Он слушал, думал о ней, о всех подробностях их встреч. Он закрыл глаза, стараясь не упустить ни слова, ни звука, внутренне удивляясь сходству голосов сестры и брата.

И тут ему пришла мысль: «Вот так они и встретились, брат и сестра, голосами, во мне, в моей памяти». И ему стало так грустно, что он чуть не заплакал, и заплакал бы, если бы не побоялся, что Юра увидит его слезы и они могут насторожить его.

— Хорошо,— поспешно одобрил Жарков, когда Юра закончил чтение, и тут же, чтобы не упустить этого особого состояния, попросил:— А свои, если не устал.

Все уже было ясно, но ему хотелось, чтобы хоть так, хотя бы в его памяти, брат и сестра встречались еще и еще раз, будто бы поговорили между собой, будто бы стихами обменялись, не то что обменялись, а каждый почитал бы пусть даже одни и те же стихи.

— Тут один,— отозвался Юра.— Раньше был не таким. Сейчас я его переделал. Конечно, еще не совсем...

— Читай,— повторил Жарков.

Юра и в самом деле начал читать стихи, которые Жарков слышал в другом варианте от Майки. И то, что их читала Майка, сделало их

дорогими и приятными, и Жарков как бы снова встречался с беспокойной девчонкой, и эти встречи доставляли ему и радость и боль. И неизвестно, чего больше. Пожалуй, больше боли. Новая боль была особая, ее необходимо было скрыть от товарища.

И все равно он с непонятной настойчивостью возвращался к этим переживаниям. Теперь каждое утро начиналось с того, что Жарков просил:

— Ну, что сегодня почитаешь? Это у нас тоже вместо физзарядки. Балагур анекдотами и частушками взбадривал, а ты — стихами.

— Сравнил,— Юра улыбнулся. Улыбался он всегда приятно, но чуть иронично, чуть вкось.— Лермонтова?

— Лермонтова, конечно,— согласился Жарков.— Но твои... это ж — твои... Про природу, например, про снег,— хитрил Жарков, а сам думал: «Вот бы он удивился, если бы я прочитал ему про снежинки, которые вьются».

— Я лучше шутливое,— отозвался Юра.— Я как-то до войны приболел, ну и... Вот послушай:

Разболелась голова,
Ну и пусть.
Засыхают все слова —
Это грусть.

Отлежал себе бока.
Уж обед.
Застревают облака
На трубе.

Надоело мне болеть!
А врачи
Заставляют есть таблет...
Ох, горчит!

Говорят, что грипп пришел
В пятый раз.
Взять бы сделать хорошо,
Без лекарств.

Принесли компот и кашу.
Не робей!
За окном голодный скачет
Воробей.

У него гигантский есть
Аппетит.
Он и станет кашу есть,
Я — кормить.

— С юмором,— согласился Жарков и прикрыл рот ладошкой. К горлу подступил комок из слез и боли, и он побоялся, что этот комок вырвется наружу.

«Знал бы ты, парень, знал бы,— мучился Жарков.— Но она жива, жива. Я верю в это».

Жаркову приснился страшный сон. Будто бы при нем Майку тащат в петлю. Он видит ее, но помочь не может. Тогда Жарков силился выдернуть из кармана «лимонку», а ее нет, военврач взял. «Майка! — кричит он. — Майка».

Тут его разбудил Юра.

— Чего кричишь? При чем Майка?

— Да это сон, — прошептал Жарков.

— А я подумал... У меня сестренку так зовут.

— Нет, — отозвался Жарков. — Это жарко мне было... Жарко... Я и раньше, Ивана спроси...

— А-а, это он про тебя рассказывал. — Это успокоило Юру.

«Молчать надо, — внушал себе Жарков. — Как мертвому, молчать».

А между тем жизнь шла своим чередом и диктовала свои законы. Целыми днями они говорили, и им не было скучно. Разговоры эти все больше сближали парней, и Жаркову все труднее становилось скрывать свои тайны, особенно тайну, связанную с Майкой, потому что, как бы то ни было, он чувствовал себя нечестным перед товарищем и потому ни за что виноватым перед ним.

— А ты с немцами никогда не разговаривал? — спросил Юра.

— Не приходилось, — ответил Жарков.

— А мне приходилось, под Витебском. Мы там оборону держали. Фрицы вечерком орут: «Рус, комм!» Нет, говорю, лучше вы к нам.

— А ты кем был-то? — поинтересовался Жарков.

— Разведчиком. Разве по прическе не видишь?

— А до партизан?

— Трудно сказать. Нас почти с ходу в бой бросили, под Каширу.

Они оба замолчали, вспоминая начало своего боевого пути. Не так они его себе представляли, не так он начался, как они хотели, но в том виновата война. Она все повернула — и жизнь, и судьбу.

«Удивительно похожи наши судьбы, — подумал Жарков. — И в войну вступили почти одинаково, и вот в тылу оказались, оба ранены».

— Думаю, нам надо верить друг другу, — после длинной паузы произнес Юра. — Без веры плохо. Если мы не будем верить — не победим. Правда, Митя?

— Правда, — поспешно согласился Жарков и сдержал тяжелый вздох.

«Если бы ты знал, какую я храню от тебя тайну. Если бы ты знал, как я тебя обманываю. — Собственно, у него были две тайны: знамя и Майка. — Ну, первую тайну нельзя выдавать даже ему. А вот вторую... Я ж, можно сказать, единственный, кто общался с его сестренкой в последнее время. Я видел ее недавно, еще и месяца не прошло. Я верю, что она жива и где-то близко... — У него уже висели на языке признания, но Жарков и на этот раз удержался. — Не время. Он парень слишком впечатлительный. Слишком».

В другой раз Юра спросил:

— Митя, а у тебя есть девушка?

Жаркову тотчас вспомнилась Линка. Где она сейчас? Но он не знал, как сказать. Кто она ему? Просто одноклассница? Товарищ. А вот Майка... И все-таки сказал:

— В общем, есть.

— А ты хоть раз — только честно — целовался с нею?

— Нет, — признался Жарков почти шепотом, и тут взыграло мужское самолюбие, повторил во весь голос: — Нет, потому что у нас серьезно было...

— А я... — Юра засмеялся. А засмеялся он хорошо, от всей души. Посмотришь на него и сам не удержишься от улыбки. — Я в первом классе девочку поцеловал. Хорошенькая такая Танечка была. Прямо на уроке.

Просто так, захотелось. Сам понимаешь, что было. Родителей вызывали. А нас рассадили, конечно.

Он «добивал» Жаркова своей беспредельной доверчивостью. Жаркову все труднее было сохранять от него тайну. Юра заметил это, однажды спросил:

— А ты чего-то не договариваешь. Я чувствую.

— Пакет... Пакет же у меня, — после молчания произнес Жарков сорвавшимся голосом.

— И все?

— Это ж особое задание, — и Жарков с жаром принялся рассказывать о выдуманном пакете.

«Нет, надо что-то решать, — мучился он. — Так я больше не выдержу. Получается, я сволочь и последний гад».

Но придумывать ему ничего не пришлось. Судьба за него придумала. Военная судьба — загадка из всех загадок. Придет нежданно, уйдет не вовремя. То к смерти, то к жизни.

САМОЛЕТ

Как-то вечером послышались звуки многих шагов. Раненые замолчали, насторожились. В землянку вошли высокий командир, с двумя шпалами в петлицах, «борода» и военврач.

— Как самочувствие? — обратился военврач к Жаркову.

— Нормально.

— Молодец. Так и держать, — похвалил с двумя шпалами.

— Мы решили отправить вас, — объяснял военврач. — Ночью самолет обещают. Согласны?

Жарков не смог говорить от волнения, только кивал.

Когда командиры ушли и волнение улеглось, Жарков произнес для Юры, как бы извиняясь перед ним:

— У меня ж пакет... Особое задание.

— Я все понимаю... Я сейчас напишу, а ты при случае...

— О чем разговор... А я... — у Жаркова чуть не сорвалось с языка: «А я тебе тайну расскажу», но он вымолвил другое: — А я тоже напишу, если ваш адрес узнаю.

— На всякий случай, — сообщил Юра. — Фамилия командира Ус, кличка — Желтый. Мы с ним от самого Витебска...

Потянулись грустные часы ожидания. Обоим и не спалось, и не говорилось, Жарков все боялся не выдержать, все настраивал себя: «Выдержать. Во что бы то ни стало выдержать. Ему тут оставаться. Ему душевные силы нужны». А Юра думал, что Жарков просто уснул и не надо тревожить его перед трудной дорогой. Санитары давно приготовили то, что требовалось, и тоже дремали.

— Юра, — тихонько позвал Жарков, — если не очень спать хочешь, почитай стихи на прощанье.

— Подходящих что-то не вспоминаю, — отозвался Юра.

— А любое. Про природу, про снег. Я ведь из Зауралья родом. Люблю снег.

— Я о другом думаю, — сказал Юра. — О нашем поколении. Вон какое ему испытание выпало. Выстоит ли?

— Должно, — успокоил Жарков. — Надо.

— Я даже первую строфу придумал, — и Юра прочитал нараспев:

Мы — великое поколение,
Брошенное на пулемет времени.
Мы — счастливое поколение,
Дети Ленина.

— Ничего? Не очень громко?

— Мне нравится, — одобрил Жарков.

Сверху донеслось протяжное поскрипывание, знакомый голос простуженного.

— Разверни сани. И никуда. Времени мало... Эй, санитары! — закричал он, откидывая плащ-палатку. — Давайте Жаркова... Хотя... — Он махнул рукой и сам направился к Жаркову, ворча на ходу: — У нас как? Тянут-тянут, а потом по тревоге.

Снова все пришло в движение. Прибежал запыхавшийся Филипыч. Опять суетился, давал никчемушные советы, проверял, напоили ли. Накормили ли? Укутали ли Жаркова как надо?

— Я его на руках отнесу, — сказал простуженный. — Я уже это делал. Верно, Жарков?.. А в санях — носилки-самоделки...

Все произошло так поспешно, что с Юрой им и словом не пришлось перекинуться. Лишь когда простуженный проносил Жаркова мимо Юриной кровати, Жарков попросил:

— Приостановись. До свиданья, Юра. Поправляйся.

— Пока, — ответил Юра и протянул ему бумажку.

Кузькин подхватил записку и уже в санях передал ее Жаркову. Жарков механически сунул записку за пазуху, под бинты, прикрывающие знамя.

На этот раз они ехали быстро. Лошадь бежала ходко, иногда на поворотах забрасывая в сани хлопья мягкого снега. Простуженный все поглядывал на небо. Оно было тусклым, беззвездным, но тучи висели довольно высоко, потому что Жарков отчетливо различал вершины деревьев. Они покачивались, будто прощались с ним.

Ехали довольно долго, около часа. Жарков подумал, что они заблудились, и хотел спросить об этом простуженного, но тот упредил его.

— Сейчас, — на ходу бросил простуженный и побежал куда-то.

Жаркову все не верилось, что он полетит, что он окажется на не занятой врагом территории, что наконец закончится его тяжелая эпопея.

«Неужели он полетит? Неужели придет самолет и заберет его отсюда?»

Всю дорогу он задавал себе эти вопросы и не мог ответить на них, как, впрочем, и на все другие. Мысль о предстоящем полете забивала все остальные мысли и все прочие ощущения. Он сейчас не чувствовал ни боли, ни холода, ни неудобств. Жарков с замирающим сердцем ожидал возвращения простуженного, боясь, как бы не произошла ошибка, не заблудились бы они в самом деле.

«А вдруг самолет не прилетит? Ну, погода не летная или еще чего... Да и подбить могут».

Он гнал эти тревожные думы, но они непременно возвращались к нему и ни на одно мгновение не давали покоя. Слишком многое зависело

от этого полета. Решалась судьба не только его, Жаркова, — это бы Жарков еще перенес более-менее спокойно, — судьба знамени.

Наконец показался простуженный. Он шел не один. Еще издали, по отчетливым твердым шагам Жарков догадался, кто идет с простуженным. «Борода»! И это немного взбодрило Жаркова. «Значит, все по-серьезному. Значит, самолет в самом деле ожидают».

— Ну как? — спросил «борода».

— Нормально, — ответил Жарков.

«Борода» похлопал его по плечу.

— К вам просьба. Я передам пакет для командования летчику, но и вы при случае доложите. Все зависит от оружия, боеприпасов и взрывчатки. Позывные те же. Время — то же. Нас пока вроде бы не засекли. В городе провалилась одна группа. Провокатор Константиновский. Запомнишь?

— Запомню, — отозвался Жарков, хотя, по-честному, не очень вникал в смысл просьбы командира, потому что помимо воли тревога за свою судьбу не проходила.

«Борода» еще раз похлопал Жаркова по плечу и исчез.

Было тихо. Возница, вероятно, дремал. Простуженный курил цигарку. Где-то лениво переговаривались люди. Их голоса походили на бормотание ночных птиц и не нарушали общей тишины.

«Так и есть, — беспокоился Жарков. — Такова у меня судьба. Не прилетит самолет. Что-нибудь случится с ним». Тут он подумал, что на судьбу ему пока что грех жаловаться, она его не очень-то обижала, она пока что в общем была благосклонна к нему. Как-никак он самолета ждет, а мог бы еще в сентябре умереть в том безымянном лесу.

«То было. А теперь судьба может и боком повернуться. Судьба — она такая. Удачи не могут быть бесконечными. Вот на этот раз не повезет».

Лошади, вероятно, бросили сена. Она зажевала, неторопливо похрумкивая и почмокивая, и это похрумкивание начало раздражать Жаркова. Он хотел крикнуть: «Нельзя ли отставить?!», но вовремя понял, что это глупо, помимо того, крик тотчас выдаст его состояние.

У него вдруг зачесалась раненая нога. Жарков попробовал пошевелить ею. Боли не ощутил, но зуд не прошел, а как будто усилился.

«Вот язви тебя, — мысленно выругался он, подражая вознице. — Нет, не прилетит. На этот раз судьба не на моей стороне».

Он представил, как они вернутся в лагерь, как его снова внесут в землянку, как уложат на те же нары. Юра, конечно, удивится этому и обрадуется. И как потом потянутся дни...

Появился военврач, словно из-за дерева вышел.

— Как себя чувствуете? Не замерзли еще?

Жарков заметил, что военврач смотрит на него как-то особенно пристально, словно желает что-то спросить, да не решается.

— Вы «Саламбо» Флобера читали? — все-таки спросил военврач.

— Не помню, — ответил Жарков, удивляясь вопросу и в то же время не воспринимая его, потому что слух его был предельно напряжен и занят одним: он слушал воздух.

— Тогда обязательно прочитайте, — продолжал военврач уже смелее.

В этот миг послышалось гудение. Оно возникло сразу, резко, будто кто-то неподалеку, за соседним лесом, включил заглохший на ночь мотор.

— Вот и «рюс-фанер», — произнес военврач и подал Жаркову что-то, завернутое в тряпицу. — Возьмите... Для спокойствия...

Когда военврач скрылся за деревьями, Жарков догадался, что это его «лимонка», и привычно засунул ее в карман гимнастерки.

АВАРИЯ

Гудение еще не смолкло, а они уже тронулись. Лошадь, недовольная тем, что ее оторвали от сена, неохотно переступила, а потом рванула, и сани заскрипели весело по укатанной дороге. Гул самолета, а может быть, страх подгонял лошадь, и она бежала все быстрее, даже не затормаживая на поворотах. Возница едва сдерживал ее.

— Тш-ш-ш, сани рассадишь!

Запахло дымком, а затем Жарков увидел пламя. Оно виднелось сквозь деревья и неровно освещало лес. Так что ему, лежащему в скользящих санях, казалось, будто по лесу прыгают разноцветные белки.

Видно, самолет заметил костры и пошел на посадку, потому что пламя стали поспешно тушить. Слышалось шипение, словно огонь был недоволен такой короткой жизнью.

Все эти наблюдения и ощущения проносились как бы стороной. Жарков улавливал их краешком сознания, а сам все думал: «Неужели?.. Значит, и вправду? Значит, все-таки?..».

А самолет тем временем уже совершил посадку. Жарков понял это по значительно сникшему гудению и топоту многих ног. Люди бежали к самолету.

Жаркова обдало ветром. Сани остановились. Лошадь нервно переступала с ноги на ногу. Возница уговаривал ее:

— Не боись. Это ничего. Это от винта дует.

Мотор не выключили, только сбавили обороты. Людям приходилось кричать, чтобы услышать друг друга.

— Опять Саша прилетела! Во молодец девка! — крикнул кто-то, пробегая мимо саней, должно быть сообщая новость вознице.

Жарков не удержался, приподнял голову.

Они стояли в метрах двадцати от урчащего самолета. Это был, действительно, «рюс-фанер», знаменитый У-2. Летчик Саша в шлеме привстала в кабине и размахивала руками, вероятно, отдавала приказания. Долетали не слова — женский голос.

К Жаркову пока что не подходили. Напротив, даже простуженный ушел на помощь тем, кто разгружал самолет. Люди бегом устремлялись к машине и возвращались от нее на полусогнутых, неся на спине ящики и мешки.

«Очевидно, оружие и взрывчатка, — догадался Жарков, вспомнив наказ «бороды». — Так что же теперь мне? Говорить о его просьбе или нет?» Для себя он решил, что при случае скажет, потому что и боеприпасы, и оружие, и взрывчатка в их условиях никогда лишними не бывают.

Жарков не заметил, как подле подводы очутилась целая группа людей.

— Понесли. Осторожно, — раздалась команда военврача.

Сначала Жаркова переложили на самодельные носилки, обернули, как куклу, вместе с носилками в брезент, обмотали веревкой. Все дела-

лось быстро, почти без слов. Не успел Жарков опомниться, как оказался у самолета. Его обдало ветром, оглушило и захлестнуло. Он невольно прикрыл ладонью рот и зажмурил глаза. Несло, как в трубе. Закручивало, как в воронке. Он задыхался, потому что не мог вдохнуть полной грудью. К счастью, это длилось не долго, какие-то считанные секунды.

— Ногами вперед, — снова донесся женский голос.

«Ничего себе формулировочка», — заметил Жарков, переживая необычное состояние, будто его отрывают не только от земли, но и от всего того, что он перенес за эти трудные месяцы.

«Прощайте, товарищи», — хотел сказать Жарков и не сказал: комок слез застрял в горле и лишил его речи. И с ним никто не попрощался, лишь похлопали по плечам военврач, простуженный, еще кто-то. На мгновение сделалось сравнительно тихо, а затем мотор усилил обороты. Самолет задрожал, и вместе с ним задрожал Жарков. Ему тотчас вспомнилась другая дрожь, тот озноб, когда они в ночном лесу встретились со старичком с собачкой. Давно ли это было?! И вот...

Он побоялся подумать о своей радости, чтобы не сглазить ее, усмехнулся в душе этому невинному опасению, ощутил непривычную легкость и понял, что они в воздухе. В ушах стало покалывать и давить. Казалось, голова становится большой и ее распирает. Он вспомнил, что говорил Иван, который не раз летал на самолетах, и начал глотать слюну, а когда это не помогло, зажал нос и резко выдохнул. Уши «прорвало», и стало лучше. Теперь было время осмотреться и задуматься над всем, что происходило в последние часы его пребывания в отряде. Собственно, в самом прямом смысле, смотреть не на что было. Он лежал в полумраке, в узком фанерном ящике, как в склепе. Жарков так и подумал: «Как в склепе», потому что после того как «прорвало» в ушах, он ощутил холод — особенно заледенели руки — и машинально начал ощупывать себя под одеялом, искать рукавицы, подарок старичка. Он нашел их, сунул в них руки и тут заметил, что сделалось светлее. Вероятно, они поднялись над облаками и луна осветила их. Жарков заметил заклепки над головой. Заклепки были свежие, а на корпусе следы отвертки и молотка.

«Возможно, раненых возили», — рассудил Жарков, выдернул руку из рукавицы, сунул ее за пазуху и произнес вслух:

— Ну вот и полетели.

Он обратился к знамени, как к живому существу. И не удивился этому. Знамя для него было не только священным, но и живым.

«Оно живет, пока я жив. И будет жить. Меня переживет».

И вдруг он вспомнил о странном вопросе военврача относительно «Саламбо» Флобера.

«Да я ж его читал! Ну да! Линка приносила. Там это... Там вождь восставших солдат идет по вражескому городу, обмотавшись священным покрывалом богини Луны Танет...—У Жаркова даже дыхание перехватило от внезапного сравнения и неожиданного открытия. — Так, значит... Значит, военврач знал о знамени? Стало быть, он намекнул мне об этом. Наверное, потому и настоял на моей отправке. Наверное, и командир, и «борода» знали... Да, да, — подтверждал он, вспоминая все детали, на которые раньше не обращал особого внимания: и странное подмигивание военврача, и доброе отношение командира с двумя шпалами, и слово «молодец» в его, Жаркова, адрес, и, наконец, возвращение гранаты —

все сейчас обрело для него истинный смысл. — Да, да, они знали. Они потому так и поступили...»

— Ха! — воскликнул он, пользуясь тем, что мотор гудел и его возгласов летчик в своем шлемофоне, конечно же, не услышит. — Теперь все далеко. Теперь я лечу, лечу, лечу...

У него вторично перехватило дыхание. Воздух обжигал глотку, и говорить, даже в фанерном склепе, было трудно. Жарков замолчал, весь отдаваясь ощущению полета. Это был не просто его первый полет, а нечто большее, огромное, высокое: после трех месяцев испытаний он летел на свободную родную землю, он вез на себе знамя части. Наверное, поэтому он чувствовал полет каждой своей клеточкой, каждой кровинкой. Он без конца повторял: «Лечу, лечу, лечу...». На уши уже не давило, никаких неприятностей не было. Самолет гудел ровно, шел плавно, лишь изредка проваливаясь в воздушные ямы. И эти «провалы» вызывали в Жаркове внутренний восторг. Он тотчас вспоминал ледяные горки. Ощущение похожее, особенно когда скатываешься с горы не на санках, не на какой-то там дощечке, а на коньках. Тогда на выбоине так подбросит — сердце замрет... Очень похоже.

Снова жуткий холод стал напоминать о себе. Или они попали в студеный поток, или набрали высоту, или самолет повернул против течения, но только Жарков замерз и начал усиленно шевелить пальцами рук и ног. За руки он не слишком боялся, а вот ноги...

«Вот бы на них рукавицы... — Страшный холод все больше сковывал его. — Вот так я и превращусь в сосульку, — еще пытался шутить Жарков, но пальцы заныли, и эта непривычная ноющая боль охватила его с ног до головы. — Странно, — подумал он, — мерзнут пальцы, а отдается в голове».

Особенно тревожила левая рука. Он вынул ее из рукавицы и засунул пальцы в рот. Чуть-чуть помогло. Боль стала утихать.

«А ноги... ноги», — и он до стона принялся двигать ими настолько, насколько позволяло его положение.

Самолет меж тем тряхнуло. Снова сделалось мрачнее (по-видимому, они вошли в облака), и Жарков услышал хлопанье. (И опять вспомнил детство. Под Новый год они из бумаги делали хлопушки и пугали ими друг друга. Подкрадутся, хлоп под самым ухом.)

Хлопанье продолжалось. Жарков догадался, что они пролетают линию фронта и хлопки — это разрывы вражеских снарядов.

Ему стало неуютно и плохо. Никогда еще Жарков не чувствовал себя таким беспомощным и жалким, даже там, в злополучном лесу, где их обстреляли фашисты. Там хоть двигаться можно было (правда, он не мог двигаться), хоть простор был. Деревья. Небо. А тут. Он в склепе, его, как ребенка, запеленали. Хочешь, да не выскочишь. А и сможешь, так куда?

Жарков обмер. Сердце подступило к горлу. Уже было не до холода, не до пальцев.

Самолет падал. «Мы ж падаем, — только об этом и успел подумать Жарков. — Падаем». И снова ощутил полет. Самолет вновь летел над землей.

«Ну, мужик! — невольно восхитился Жарков летчиком, — хотя женщина, а молодец!»

Восхищение его прервали недобрые предчувствия. Для них появились основания. Жарков услышал, как мотор начал чихать, кашлять, бухать

настолько сильно, что весь корпус вздрагивал. Жарков на себе ощущал это буханье.

«Ну, вот и-и...— мелькнула мысль.— Обидно».

Мотор еще несколько раз бухнул и замолчал. Самолет на мгновение как бы повис в воздухе, затем полетел так, что Жаркову показалось, будто бы он висит в воздухе, отдельно от самолета, сам по себе. Потом что-то случилось, самолет снова будто бы выровнялся, уже не падал, а как бы скользил по воздуху. Потом они ударились с такой силой, что Жарков вылетел бы из самолета, будь он открытым, как грузовая машина. Но Жарков не вылетел, а только стукнулся лбом о заклепки и почувствовал, как за ухо потекла струйка крови.

ДВОЕ В ЛЕСУ

Некоторое время он лежал неподвижно, замерев в ожидании, понимая лишь одно: они на земле и он цел.

«А как же Саша? Мне же без ее помощи отсюда не выбраться».

Как бы в ответ на его опасения до Жаркова донеслись ругательства. Жарков обрадовался.

«Жива. Жива она. Значит, еще не все потеряно».

Он хотел крикнуть, просто крикнуть, чтобы та знала, что и он жив, но не получилось. Горло перехватил нервный спазм.

Послышался странный звук, будто наждачной бумагой скребли по фанере, голос:

— Вы живы?

— Аг-га.

У Жаркова, оказывается, одеревенели губы, и он не мог произнести сло́ва.

— Застыли?

— Аг-га.

— Момент.

Руки Саши прошлись по его плечам, голове, нащупали дерево носилок.

— Момент.— Носилки неуверенно потянули. В порядке. Вы легкий.

Саша вытянула носилки из деревянного склепа. Минуту Жарков держался на плоскости самолета, будто его собирались сбрасывать с парашютом. Но сбрасывать было некуда. Они находились среди небольшой снежной поляны. Самолет лежал на боку, так, что одно крыло вонзилось в землю и надломилось, а второе торчало пикой, точно защищая их от нависших облаков. Неподалеку чернел лес.

«От леса уехал и к лесу приехал»,— подумал Жарков и не почувствовал ни радости, ни огорчения.

— Момент,— повторила Саша и вместе с Жарковым скатилась с крыла, как с горки.

Сугроб был глубоким, и они не ушиблись, только Саша долго выбиралась из снега.

Она добралась до Жаркова и, встряхнувшись, приказала:

— Руки давайте.

Жарков находился в каком-то непонятном состоянии безразличия, он как бы забыл о себе, о своих руках и ногах, обо всем на свете. Лежал

в снегу, как на пуховой перине, и ничего ему сейчас не хотелось, только бы лежать, не двигаться, заснуть.

— Руки,— повторила Саша фальцетом.

Жарков с трудом вытянул руки из рукавиц и протянул их Саше. Она начала дуть на пальцы и оттирать их снегом. Ее тепло как бы вдохнуло жизнь в Жаркова. Состояние безразличия стало проходить. Первым делом проснулся мозг, он вспомнил о знамени и произнес:

— В лес надо,— про себя понимая, что падающий самолет, конечно же, заметили и с минуты на минуту здесь могут появиться враги. О том, что могут появиться свои, он все еще не думал.

Саша как будто не обратила внимания на его слова, продолжала свое дело.

— Слышите, в лес. У меня пакет важный.

Это подействовало. Саша сдернула с себя ремень, приладила его к носилкам и дернула их. Сама тотчас провалилась в сугроб чуть ли не по пояс и заругалась. Жарков прикрыл лицо рукавицами. Снег забивал нос и рот, но он терпел, сознавая, что без этого не обойтись, что главное сейчас — любыми путями добраться до спасительного леса.

К счастью, снега стало поменьше. Теперь Жарков не прикрывал лицо рукавицами, изредка приподнимал голову и видел неширокую спину, ноги в унтах, слышал тяжелое дыхание.

«Не привыкла она к ходьбе,— посочувствовал Жарков.— А нашему, какому-нибудь, скажем, простуженному, такой бросок был бы нипочем. Они за ночь по тридцать километров делали».

Показались первые кустики.

«Значит, успели»,— обрадовался Жарков.

Саша протянула по инерции еще несколько метров, остановилась у высокой сосны.

— Передохну.

Она подошла, наклонилась. Жарков различил молодое чистое лицо и темную прядку из-под шлема.

Жарков попробовал пошевелить пальцами, они плохо слушались.

— Ноги,— произнес он.

Саша сверху через одеяла стала мять и растирать пальцы ног.

— Тихо,— попросил Жарков.— Левая перебита.

На минуту наступила тишина. Они молчали, и все вокруг молчало. Ночь не тревожила их ни единым звуком.

— По компасу, наши на северо-востоке, — приободрила Саша, очевидно приняв молчание Жаркова за уныние. — По моим расчетам, мы все-таки на нашей территории, в крайнем случае, на «нейтралке».

От близости своего человека Жаркову стало тепло и легко, и он отозвался громко:

— Раз направление известно, выйдем.

«Как же я выйду?» — усмехнулся он про себя.

Саша не ответила, после паузы спросила:

— Вас как зовут?

— Дмитрием... А...

— Вам сколько лет?

— Девятнадцать.

Саша спрашивала быстро, не оставляя времени для встречных вопросов, точно опасаясь их.

— О, да вы моложе меня. Мне двадцать три.

Оба замерли.

Послышалось гуканье филина. В кромешной тишине оно прозвучало, как близкий гудок паровоза.

— Это могут быть наши. Партизаны,— прошептал Жарков.

— Откуда они, если мы на нейтралке? — отозвалась Саша и достала из-за пазухи револьвер.

Жарков догадался, что она боится не столько этого филина и темноты, сколько леса и ночной тишины.

— Не бойтесь,— успокоил Жарков.— Лес хороший.

Саша не ответила. Они опять замолчали. Гуканье не повторялось.

— Двигаться надо,— предложил Жарков.

— Чуть западнее,— согласилась Саша.

Она внимательно посмотрела на компас, снова взялась за ремень и сдвинула носилки.

Брезент шуршал по снегу, и этот звук тоже был особенно слышным и настораживал. Ночью все настораживает. И звуки, и тени. «А она,— понял Жарков,— в лесу не жила и лесной жизни не знает. Вот вздрогнула — дерева напугалась, а оно просто похоже на человека. Вот еще дернула ремень — за сучок зацепился, но это всего-навсего старый корень».

Она шла тяжело, громко дышала и отпыхивалась. Несколько раз она оступалась, останавливалась, смотрела на компас, снова двигалась, наконец призналась:

— Непривычно,— и приставила ногу.

«Закури,— хотел предложить Жарков, но подумал:— Она и не курит, наверное».

Жарков терпел и это испытание, сознавая, что и его необходимо пройти.

«Знамя, знамя, знамя,— повторял он про себя.— Вот оно. И до цели совсем немного».

Это помогало.

— Нас ждут,— сказала Саша.— По времени мы уже час назад должны были быть.

— Будем,— подбодрил Жарков.

— Я ж дорогу не знаю. Темно,— почему-то обиделась Саша, но тотчас устыдилась своей обиды, в свою очередь успокоила Жаркова: — Выйдем.

Так они и двигались, останавливаясь, сверяя маршрут, подбадривая друг друга.

— Одно запомните, — заверила Саша во время очередной остановки, хотя Жарков ни в чем и не сомневался. — Не оставлю.

— Спасибо,— поблагодарил Жарков, наполняясь благодарностью к этой незнакомой женщине.

МЕЖ ДВУХ ОГНЕЙ

Саша снова остановилась, посмотрела на компас и что-то нервозно пробормотала. Недобрые предчувствия резанули Жаркова по сердцу.

— Долго тянется эта «нейтралка»,— сказал он.

Саша промолчала, задумываясь над ответом, потом призналась решительно:

— Компас не работает. Сгоряча непонятно было, а теперь...

Жарков содрогнулся от этого признания. «Что теперь? — спросил он сам себя, стараясь не выдать своих волнений.— Может быть, мы не к своим, а к немцам идем? Может, уже пришли и они вот-вот объявятся? Выйдут вон из-за той сосны или из-за того дерева».

Он машинально ощупал «лимонку», дотронулся до кольца. «Нет, знамя я не отдам ни при каких обстоятельствах. Оно умрет вместе со мной. Но ему жить надо. Жить!» — внутренне возбудился Жарков и сказал, стараясь произносить слова сдержанно и ровно:

— Давайте сориентируемся по деревьям, по звездам.

— Звезд нет,— отозвалась Саша.

— Но деревья-то есть,— настаивал Жарков.— Куда ветви смотрят?

— Это не точно,— неуверенно произнесла Саша, но все-таки задрала голову и начала вглядываться в расположение ветвей.

Они опять пошли и неожиданно очутились на опушке леса. Точнее, их лес кончился. Просматривалось небольшое поле, за ним виднелся новый лес.

— Вот видите! — воскликнул Жарков.— Мы и вышли из леса.

— Вышли,— усмехнулась Саша.— А куда вышли? Кто в том лесу?

Жарков хотел сказать что-нибудь ободряющее, но в этот миг с разных сторон почти одновременно донеслись голоса людей. Они слышались сзади их, из того леса, в котором еще находились, они слышались впереди, в том, ближнем, лесу, через поле.

Оба замерли. Потом Саша — или со страха, или интуитивно — рванула вперед, подхватывая носилки Жаркова, и побежала.

«Надо ж разобраться»,— хотел крикнуть Жарков, но не успел.

Саша бежала, тяжело дыша, высоко поднимая ноги. Сзади раздался крик:

— Хальт! — и выстрел.

Тотчас из соседнего леска раздалась ответная автоматная очередь и голоса. Разобрать нельзя было ничего, только ясно было одно: кричали наши.

Началась пальба. Саша пригибалась, но не сбавляла темпа. Вдруг она будто оступилась и исчезла. Через мгновение и Жарков покатился в какую-то яму, наверное воронку. Его перевернуло на бок и ткнуло лицом в снег. Снег был мягкий, и он не ушибся, во всяком случае, не почувствовал боли.

Саша ругалась на чем свет стоит, пытаясь высунуться из воронки.

— Переверните меня,— попросил Жарков.— Эй! Переверните меня на спину.

Саша услышала, подобралась к Жаркову, поправила носилки. Она ничего не говорила, держала револьвер наготове и смотрела наверх.

Над ними летали трассирующие пули, будто красные и зеленые светляки.

В другое время, возможно, это было бы и красиво, но сейчас наводило грусть. Они в ловушке. Над ними идет настоящий бой и неизвестно еще, чем кончится.

«Ну,— произнес Жарков, просовывая руку под гимнастерку,— прощай. Я все для тебя делал. А теперь уже не от меня зависит. Прощай».

Он положил руку на кольцо и стал ждать. Мозг его усиленно работал, но он ничего не мог придумать.

Над ними проносились пули. Он беспомощен. Они в воронке. Саше не выбраться, срежут, как подсолнух.

«Но неужели это все? Именно тогда, когда до своих всего каких-нибудь сто, может быть, пятьдесят метров».

Ему не хотелось верить в плохое. Это было нелепо, какая-то насмешка судьбы («Да, да. Тогда зачем же было все остальное? Зачем же я столько пережил и перенес?»), но действительность была сильнее самых горячих желаний. Действительность — вот она, вокруг него, над ним, там идет бой.

Как будто в подтверждение этой реальности, раздался взрыв. Саша невольно отшатнулась, присела в снег.

— Это граната,— сказал Жарков и ощутил холод своей «лимонки». На мгновение ему показалось, что не гранату он чувствует под рукой, а собственное заледенелое сердце, которое, как ни странно, усиленно бьется, так стучится, что кажется само, помимо воли его, сможет вырвать кольцо из гранаты.

— Рюс-фанер,— донеслось сзади.— Капут. Стафайсь.

— Ни хрена! Не верь им! — послышалось с нашей стороны.

Новые приступы стрельбы покрыли эти крики. Заработал пулемет. Жарков узнал знакомый голос, отметил про себя: «„Дегтярь" трудится».

— Как появятся, так я их и срежу! — крикнула Саша.

— А они гранату.

— Так что же?

— Я подорвусь. У меня «лимонка» в кармане. И тебе... В плен тебе не советую.

Он невольно перешел на «ты», потому что женщина эта — Саша — видать, неплохой воин,— стала ему своим человеком.

— Конечно,— согласилась Саша, и голос у нее дрогнул, а плечи задрожали.

— Не плачь,— успокоил Жарков.— Это только раз. Всего один раз.

— Маму жаль,— сказала Саша.

Жарков тотчас вспомнил свою маму, как она по утрам у печи стояла, пекла для него вкусные пирожки с поздникой, как она по ночам подле него сидела, когда он корью болел, как она крепилась, чтобы не заплакать, когда провожала его на фронт.

«Жаль маму, что и говорить,— подумал он, но тут мысль его перекинулась снова на знамя.— Тысячи людей будут покрыты позором, целую часть расформируют, то есть она совсем не станет жить... Так хоть бы врагам его не отдать, хотя бы скрыть, спрятать».

Эта находка обожгла его, будто огнем.

— Слушай, помоги мне,— обратился он к Саше.— Ну, освободи от этих веревок, от брезента.

— Так надо же следить,— запротестовала Саша.

— Пока стреляют, они вряд ли,— объяснил Жарков.— Наши не дают приближаться.

— А вдруг?

— Помоги,— настаивал Жарков,— спрятать надо.

— Пакет?

— Сейчас узнаешь. Ну, прошу, как друга.

— Лучше сожжем,— предложила Саша, приближаясь к нему и все не спуская глаз с края воронки.

— Нет, зароем. Ну! — уже не говорил, а приказывал Жарков.

Саша, не выпуская из правой руки револьвер, левой взялась за веревку.

— Ножом. Быстрее!

В этот миг сверху послышался голос.

— Вылезай сюда. Ползти надо.

Они замерли.

— Э-э, жив? Давай сюда.

— Нас... двое,— отозвалась Саша и прерывисто вздохнула.— При мне раненый.

— Давай,— настаивал голос.— Чего ты там чикаешься?

— Скользко.

Над воронкой показалась голова в ушанке, завязанной под подбородок. Жаркову представилось, что он смотрит в мутную воду и это отражается его голова.

— Подталкивай,— командовал голос.— Подталкивай, а я приму.

Он легко подхватил носилки и вытащил Жаркова из воронки, потом подал руку и помог подняться Саше.

— Быстро, быстро,— приговаривал боец.— Давай, давай. Ползи по моему следу, а я пособлять и прикрывать буду.

Неожиданно он вскочил и привычным, мощным движением метнул гранату. Сзади, у самых деревьев раздался взрыв. Пули засвистели над головами, но тотчас ответили сразу два пулемета с нашей стороны. И где-то сбоку, с фланга тоже послышалась стрельба. Наши или обходили немцев, или решили зайти в тыл,— этого Жарков не знал. Он зажмурился, чтобы не видеть, что происходит вокруг, чтобы не вспугнуть судьбу, которая и на этот раз подала ему руку.

ЦЕПОЧКА

Показались кусты, деревья. Саша и боец поднялись в полный рост. Еще несколько шагов. Появились люди, как тени. Женский голос доложил:

— Младший лейтенант Егорова после выполнения задания. Имею раненого. Самолет поврежден. Посадка вынужденная.

«Молодец она»,— хотел добавить Жарков, но сил не было.

Его снова понесли куда-то. Кроме носильщиков хромали еще двое. Они были ранены в бою за них, его и летчика спасение.

«Она вела себя, как мужчина, и держалась геройски, лучше иного мужика»,— рассуждал, придя в себя, Жарков.

Ему сделалось стыдно. Он даже не попрощался, не поблагодарил ее. И где теперь искать?

— Закури,— предложил один из бойцов.

— Не курю... В грудь ранен,— добавил Жарков, чтобы сгладить неловкость. Некурящий боец на фронте вызывал недоумение.

Вероятно, стало светать. Жарков различил движение туч над головой, лица красноармейцев. Раненые молчали и были хмурыми, зато носильщики переговаривались во весь голос, делились впечатлениями прошедшего боя.

— Ловко Василь фрица сбил. Он, значит, за дерево, а тот вспышку засек. Ловко.

— А Прохор с пулемета.

— Ты-то что не стрелял?

— Так не видать было. А как завиднелось, я и нажал.

«Чувствуешь? — спрашивал Жарков, засунув руку под гимнастерку.— Мы у своих. Выбрались. Не бросил тебя, чуешь? Теперь-то что. Теперь мы у своих».

Его принесли в какую-то землянку, покрытую свежими ветками. Пахло хвоей. Горела трофейная плошка, потрескивая и дрожа.

Подле нее сидела щекастая девушка, подшивала подворотничок к чужой гимнастерке с двумя кубиками в петлице. Завидев раненого, она тотчас отложила свое занятие, стала командовать.

— Кладите на нары. Да не туда, подальше от входа.

Потом, ничего не сказав, подала Жаркову фляжку.

— Пей. Пей, говорю, это жидкость против шока. До ПМП еще три километра.

Она достала шприц, чтобы сделать укол, но Жарков упредил ее.

— Я ранен еще в сентябре. Я оттуда, от партизан. Мне все делали.

Санинструктор не удивилась, понимающе кивнула.

— Подожди, я этих перевязать должна.

А Жаркова уже клонило ко сну. Он не смог сдержать этого желания и провалился.

Очнулся он, вероятно, на ПМП, потому что его тряс за плечо человек в очках, с тремя кубиками в петлицах.

— Проснулись? Вспомним. Расскажем.

Жарков пришел в себя, рассказал как можно короче свою историю и добавил для весу:

— Мне нужно дальше. У меня пакет важный.

Очкарик пропустил его слова насчет пакета, приказал кому-то, сидящему за его спиной:

— Карточку передового района и в МСБ. Пока не развиднелось.

Жаркову еще дали попить, и он снова впал в забытье. Это было действительно забытье, потому что он не видел никаких снов, не чувствовал движения, холода, не слышал слов сопровождающих его людей.

Встряхнулся Жарков как по тревоге: чьи-то руки прикасались к его груди.

— Не-е,— еще не открывая глаз, промычал Жарков и потянулся к «лимонке».— Нельзя.

— И я говорю — нельзя.

Жарков открыл глаза. Перед ним стоял человек в белом халате. Он как-то странно, набок держал голову, будто ему свело шею.

— Нельзя иметь при себе оружие, — повторил он, — а гранату тем более.

Возможно, если бы это произошло не во сне, если бы Жаркова заранее подготовили, если бы объяснили ему все толково, он бы, наверное, и отдал «лимонку», а может быть, и рассказал о своей тайне. Но его не подготовили, с ним даже не поговорили, его просто хотели разоружить сонного и тем самым напугали и насторожили.

— Нет,— решительно произнес Жарков.— Я с ней более трех месяцев не расстаюсь. У меня пакет важный.

— Но вы ранены, — настаивал незнакомец, — нам необходимо осмотреть вас.— И он снова протянул руку к Жаркову.

— Я дерну! — крикнул Жарков.

— Выполняйте приказ! Я — военврач третьего ранга,— повысил голос незнакомец.

— А мне приказано,— не уступал Жарков.— Самому начальству. Генералу.

На крик в палатку вошел седоголовый командир, со шпалой в петлице.

— Что за шум?

— Сумасшедший какой-то. Гранату при себе держит.

— У меня особое задание. Я обязан выполнить его,— торопливо заговорил Жарков, понимая, что седой старше этого кривошеего.

— Ну-у, если так,— произнес седой, внимательно посмотрев на Жаркова.— Он нуждается в вашем лечении? Быть может, его отправить в ППГ?

Военврач еще сильнее скривил шею, и они вышли из палатки.

Через некоторое время Жаркова вместе с двумя лежачими ранеными погрузили на открытую машину, прикрыли брезентом и повезли неизвестно куда, во всяком случае — от передовой, в тыл.

Теперь Жарков не спал, опасался, что его разоружат сонного, отнимут гранату и отберут знамя.

Собственно, сейчас он у своих, и знамя, вероятно, попадет туда, куда надо. Но уж больно ему не хотелось заканчивать так свою эпопею. «Да и как же так? Надо ж кому-то доложить об этом... Передать знамя в надежные руки... Это ж не просто, это ж особое задание. Нет, — твердо решил Жарков. — Я уж закончу по всей форме, чтоб в полной уверенности быть».

Ему на щеку упала снежинка и долго не таяла, щекоча кожу. Она как бы напомнила, что жизнь продолжается и все идет не так уж плохо. Главное сделано, знамя спасено. От этой мысли Жаркову стало легче, и он про себя, почти бессознательно начал читать стихи:

На осенний лед
Падают снежинки.
Падают и вьются...

Тут он подумал о друге и полез искать записку, что передал Юра в последний момент. Бумажка отыскалась под бинтами.

«Надо будет при первой возможности отправить,— дал себе задание Жарков.— И Майку найти... Ее обязательно...»

Они остановились. По голосам он понял, что они приехали, и невольно потянулся к гранате, приготовился к неприятным переговорам.

Однако приготовления его оказались напрасными. Его бегло осмотрел какой-то неприметный врач в шинели с поднятым воротником, сказал устало:

— Не наш профиль.

Жаркова накормили, напоили, уложили в теплую палатку и велели ждать. Вечером на другой машине его повезли дальше.

Дорогой он спал, мерз, вздрагивал, потому что ему чудилось, что кто-то подбирается к его «лимонке», чтобы разоружить его и выкрасть знамя. Он даже сон видел. Будто бы где-то, в каком-то светлом месте много генералов и начальников. Почему-то и он там. Но с их знаменем выходит другой человек, и другой человек докладывает о спасении.

«Нет, это должен сделать я,— уже наяву подтвердил для себя Жарков.— По всей форме. Именно генералу. Это верняк. Он даст ход.

А так... по команде... Это надолго. А там люди. Они под вопросом... Именно генералу»,— решил он окончательно.

К утру его привезли в тыловой госпиталь, расположенный в избах, неизвестно как сохранившихся от войны, с настоящими кроватями, с простынями, пахнущими мылом.

КОМИССАР

Едва его внесли в избу, едва пожилые санитары отерли пот со лбов, едва он вдохнул непривычного воздуха, вбежала толстая тетка в халате и стала ругаться:

— Вам што, провожатого еще давать? Вы што, шлепошарые? Не можете разобраться, где пропускник, где палаты? Куда вы его приперли?

— Товарыш старшина говорил, айда крылечко,— оправдывался немолодой санитар-казах.

— Айда, айда,— смягчилась тетка,— но то крылечко первое от дороги. Несите туда.

В приемном на носилках, прямо на полу лежали раненые. Меж носилок ходил санитар с поильником и сестра со шприцем.

Вскоре появился молодой врач, худенький, черноголовый, с улыбкой в глазах. Он как-то сразу вызывал доверие, и Жарков, когда подошла его очередь, сказал:

— Мне, наверное, в дальний госпиталь. Я давно ранен. Рана, вроде, затянулась, а вот осколки отходят.— Он уловил взгляд врача и добавил поспешно:— А в грудь навылет. Это, сказали, и трогать пока не надо. Это когда уж прочно.— Он поманил рукой, попросил врача наклониться.— А еще у меня пакет важный. Начальству передать велено... Генералу.

— Генералов у нас нет,— добродушно усмехнулся врач.

— А мне надо.

— Поедешь в тыл. Там будут. Вот только температуру померяем.

Жаркову поставили градусник. Температура оказалась нормальной.

Через несколько часов, дождавшись, когда подготовят других раненых, Жарков, теперь уже на покрытом брезентом грузовике, поехал дальше. Настроение у него было хорошее. Пожалуй, впервые его ни о чем не расспрашивали, сразу поняли и уважили просьбу.

«Теперь так и буду. Непременно генерала. Непременно на особом задании настаивать... Надо до конца довести дело. Надо».

Действительно, попав в новый госпиталь, он повторил свою версию и к нему прислушались: померили температуру, накормили, напоили и отправили еще дальше.

«Все в порядке, все в порядке»,— радовался он.

Но Жарков простодушно ошибался, считая, что на врачей действует его версия о пакете и о генерале. На самом деле действовало другое. Видя этого изможденного, исхудавшего, изболевшегося парня, представляя степень его ранения, врачи понимали, что ему требуется длительное лечение в спокойных условиях, в далеком тылу, без тревог и бомбежек, и, понимая это, тянули его по накатанной цепочке к этой цели.

На пятый день своего нахождения «у наших», Жарков очутился во фронтовом эвакопункте — ФЭПе. И тут начались конфликты. Вспыхну-

ло от сестры приемного отделения. Она как глянула на Жаркова, так и ахнула.

— Да вы что? Да вы откуда? Заросли, как дикарь!

— Оттуда. Из немецкого тыла,— ответил Жарков.

— Вас что, год не стригли?

— Да месяца три... Хотя стригли... Ножницами... Овечьими...

Жарков произносил это с расстановкой, с паузами. Ему забавно было наблюдать, как некрасивое лицо сестры молодеет, становится почти детским от удивления.

— Тогда я сейчас сама,— пообещала сестра.

— Приставить ногу,— остановил ее Жарков.— Мне сейчас генерала надо.

— Генерала? — удивилась сестра.

— Ну да, у меня пакет к нему.

Как раз перед приходом сестры Жаркову вдруг пришла мысль: добиться свидания с генералом именно здесь, в этом госпитале.

«Тут-то генерала найдут... Тут-то не там... Там все генералы боями заняты, а здесь могут и отвлечься... Конечно, а то так они меня вон куда утянут».

— Пакет? — переспросила сестра.

— Вот именно,— важно ответил Жарков, сам удивляясь своему тону.

— Да в таком виде разве можно? — не отставала сестра. Она уже пришла в себя и готова была выполнять непосредственные обязанности. А они как раз и состояли в наблюдении за гигиеной раненых.

— Генерала,— уперся Жарков.— Ну, я дело говорю.

Сестра, возмутившись, тряхнула головой и ушла.

Через некоторое время она вернулась с более пожилой сестрой.

— В чем дело? — спросила пожилая грубым голосом.— Почему стричься отказываетесь?

— Я объяснил. Мне генерала нужно.

— Может, маршала? — усмехнулась пожилая. — Да таким видом ты кого угодно напугаешь. Родимчик хватит. Вот приведем в порядок — тогда...

— Генерала,— не уступал Жарков.

Пожилая вся вспыхнула — лицо, шея, подбородок — и, высоко подняв голову, удалилась из приемной.

«Кого же она позовет?» — гадал Жарков. Все это походило сейчас на шутку. И хотя ему, в общем-то, было не до шуток, это было смешно.

Действительно, пожилая вернулась вместе с взлохмаченным доктором. Не то что он и в самом деле был косматый, нет, но у него было столько волос, что они вылезали из-под шапочки во все стороны.

«Как в сказке про «Репку»,— в душе усмехнулся Жарков.— Хотя там, кажется, наоборот, позвал дед бабку».

— В чем дело, молодой человек? — еще от порога спросил доктор, решительно направляясь к носилкам. Он наклонился, сдернул с Жаркова одеяло и отшатнулся.— Да вы... вы что?

Все трое вылетели из помещения, будто их взрывной волной смело.

«А кого этот позовет?» — про себя забавлялся Жарков.

Стали появляться разные люди, одни только заглядывали в комнату, другие не осмеливались подходить к топчану, где лежал Жарков. Все они долдонили теперь об одном: «Сдавайте оружие. Нужно сдать оружие». А Жарков твердил свое: «Генерала».

Наконец явился человек (Жарков сразу, по тому, как на нем сидел халат, понял, что это не медик), взял табуретку, сел напротив Жаркова.

— Ну, чего вы? — спросил он скорее участливо, чем строго.

Жарков тотчас сообразил, что это уже не шутка, и весь насторожился.

— Я выполняю приказ, товарищ...

— Капитан,— подсказал пришедший.

— Мне приказано,— продолжал Жарков, больше всего стараясь не выдать своего волнения,— передать важный пакет лично в руки начальнику... генералу.

— Приказ есть приказ,— согласился пришедший.— А зачем же граната? Я понимаю там, в тылу, а здесь, да еще в лечебном учреждении?

— Так надежнее,— сказал Жарков.

Пришедший кивнул, посидел молча, поглядел на Жаркова и тоже ушел.

Вечером появился высокий, плечистый, бритоголовый человек. Все в нем было крупным, надежным, особенно руки. Но не это бросилось в глаза Жаркову, а красный рубец через всю голову, наискосок. Рубец этот прежде всего привлекал внимание.

— Давайте знакомиться,— прогудел высокий.— Старший батальонный комиссар Мартинсон.

— Красноармеец Жарков,— робко ответил Жарков.

Комиссар по-свойски подмигнул, приободрил Жаркова.

— Все слышал. И что из вражеского тыла, и что приказ выполняешь, пакет важный при тебе, и что генерала требуешь. Молодец. Оттчень хорошо. Настоящий боец. Комсомолец? Я так и думал.

Он говорил с легким акцентом, и это придавало его словам приятный оттенок, к тому же слова были хвалебные, таких от большого начальника Жарков еще в жизни не слышал.

— Одобряю и обещаю: генерал будет. Только гранатку нужно сдать... Под мою ответственность,— добавил он, видя, что Жарков намеревается возражать.— Никто тебя не тронет, и ты вручишь генералу лично свой пакет. Договорились?

Комиссар протянул руку. Жарков несмело пожал ее.

ГЕНЕРАЛ

Жарков отдал гранату. Его остригли. Голове стало холодно, будто ее опустили в ледяную воду.

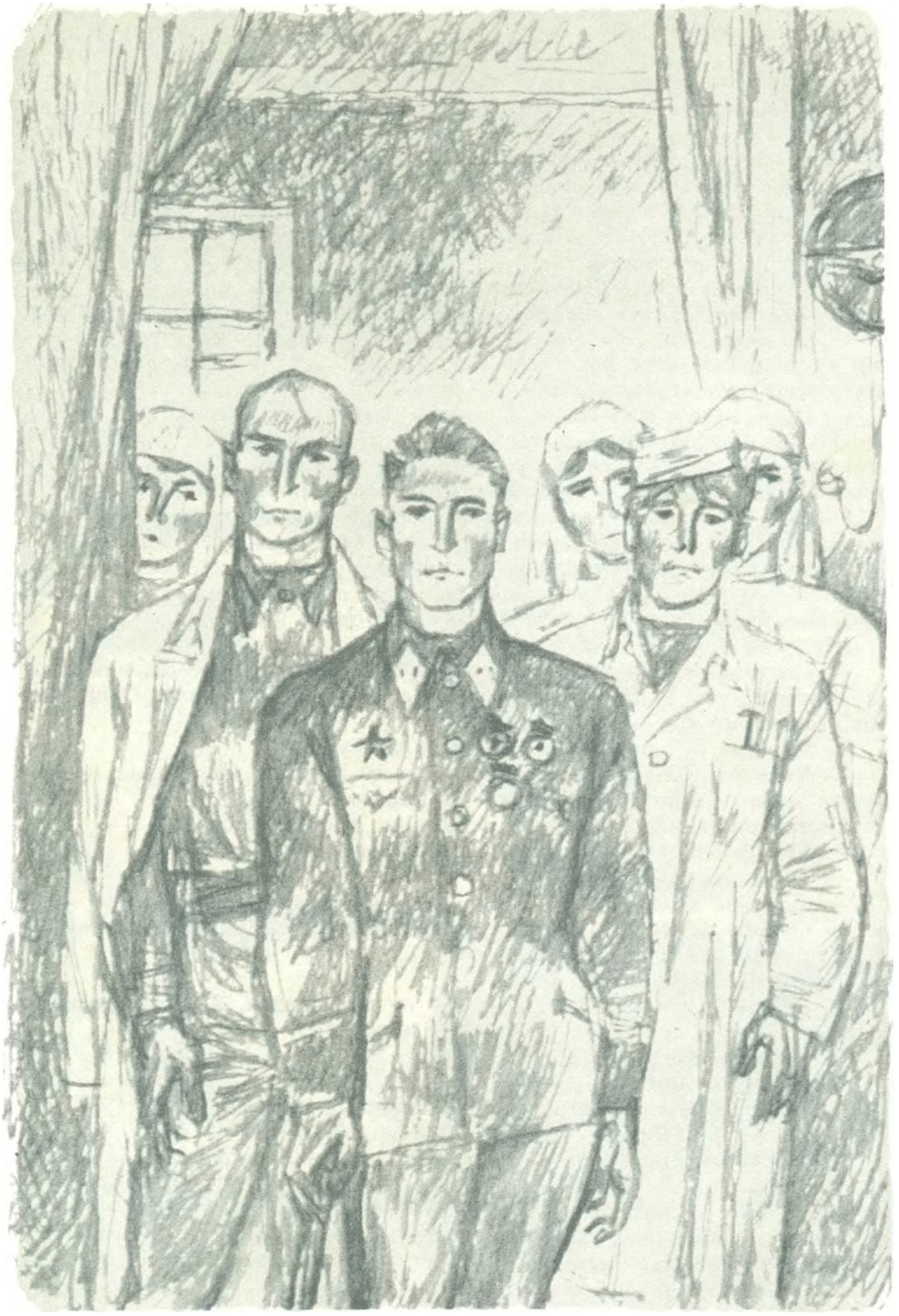
— Шапку. Дайте шапку,— попросил он.

Молодая сестра выполнила просьбу. Он заметил, что после посещения комиссара просьбы Жаркова выполнялись без возражений и никто к нему не приставал ни с вопросами, ни с предложениями.

Он лежал спокойно и тихо. Можно было бы поспать или подремать, но не спалось и не дремалось. Он был весь в ожидании, в напряжении.

«Надо уж до конца,— внушал он себе.— Доложу генералу, тогда...»

Жарков пробовал занять себя воспоминаниями, как делал прежде в подобные напряженные минуты, но и этого не получалось. Мелькали отдельные эпизоды из жизни, будто несколько картин склеили в одну лен-



ту. То представлялась Линка со значком ГСО на груди, то Майка, вдохновенно читающая стихи своего брата, то мама, угощающая его пирожками, то бабушка Христя, пекущая хлеб.

«Что это такое со мной?» — удивился Жарков.

Наконец он понял: «Вот что! Я попал в третью жизнь. Та, что до войны,— одна, та, что была там, во вражеском тылу,— другая, а вот теперь... Теперешняя только начинается. Какая-то она будет? Надолго ли? Нет, разлеживаться мне нечего. Поправлюсь и в строй. Война-то — вон она где. Ее отбивать надо. Но прежде Майку отыскать... Сперва, конечно, со знаменем докончить надо. Чтоб все как положено... Вот доложу генералу, передам знамя...».

Но генерала все не было. Сутки прошли. Вторые.

— Комиссар где? — не выдержал Жарков.— Он мне тут обещал.

— Он все обещания выполняет,— заступилась сестра, будто комиссар по меньшей мере выполнил сто ее обещаний.— Подождите... Могу другую шапку дать.

— Не нужно,— отказался Жарков.— Эта хорошо греет.

«Ну да,— успокаивал он себя.— И здесь генералы в бирюльки не играют. И здесь они заняты с утра до ночи... Но ведь я не по пустяку, не просто так. Хотя откуда он знает? Да и все думают — пакет...»

Он вдруг представил своих товарищей, тех, с кем выходил из окружения (в том, что они вышли, он не сомневался). Где они сейчас? Что с ними? Ведь их же расформировали, разослали по другим частям. И там им плохо. На душе у них кошки скребут. Часть потеряла знамя. От них это не зависело, но факт остается фактом. Позор на них.

Жаркова бросило в жар от этой картины.

— Сестра!—крикнул он. Но, увидев ее по-детски встревоженные глаза, стиснул зубы и произнес тихо: — Сестра, просьба к вам. Отправьте вот это письмо как можно быстрее.

— Сделаю,— заверила она и собралась уйти.

— Еще я хотел спросить,— остановил ее Жарков. Он медлил, потому что ее тревога взволновала его.— Вы верите в судьбу?

Сестра оживилась, в глазах мелькнули лукавые огоньки.

— Может, погадать? Я у цыганок научилась.

— Вы скажите.

— Да я не знаю, что это такое — судьба?

— Судьба — это... — начал Жарков и сам смешался.— А комиссара можете позвать?

— Так бы и говорили, а то...

— Понимаете, очень надо. Я ему не все сказал, а дело срочное... Очень... От него судьба многих людей зависит.

— Он же обещал.

— Но время идет.

Она пристально посмотрела на Жаркова, кивнула.

— Попробую. Вам сейчас ничего не надо?

Потом что-то произошло. Или Жарков все-таки задремал, или забылся, но когда открыл глаза, увидел, что в палате много народу, а перед койкой стоит комиссар со шрамом через всю голову и с ним генерал. Все в халатах, а генерал в форме, при орденах, со звездами на петлицах. На палочку опирается. Лицо у него обветренное, моложавое, а на висках седина.

Жарков на мгновение растерялся — не сон ли это? — а в следующее

мгновение приподнялся на руках и, проглатывая подступивший к горлу комок, произнес на выдохе:

— Товарищ генерал... Докладываю... Особое задание...

Грудь сжало, и Жарков остановился, передохнул.

— Разденьте меня... Я не раненый... Я завернутый...

Кто-то притронулся к гимнастерке, и она расползлась, казалось, от одного этого прикосновения.

— Бинты... Обмотки...— командовал Жарков.

Он никого не видел, только генерала, только его лицо. Оно почему-то бледнело, лишалось краски. А потом Жарков ощутил такую слабость, что уже не мог ничего видеть и замечать. Ему сделалось холодно, точно не знамя сняли с него, а собственную кожу. К нему подходили, обнимали, целовали, а Жаркову все это было ни к чему. Его трясло.

— З-замерз-з,— с трудом произнес он.— С-согреться.

Его укутали. Дали грелку. Что-то продолжали говорить.

— Я устал. Я спать хочу.

Жаркова ждала война. На него надеялась Родина. Надо было скорее поправляться.

1976—1980 гг. Ялта—Дубулты—Комарово

СОДЕРЖАНИЕ

Мнимое ранение 5
Дни без счета 14
Воскресение 19
Второе рождение 25
Тревога 30
Новоселье 35
Майка 39
Болезнь 45
Полицаи 49
На огонек 54
Десант 59
«Борода» 64
Градусы 68
Тревога 71
Погоня 74
Новые люди 79
Печальные вести 82
Юра 86
Самолет 90
Авария 94
Двое в лесу 98
Меж двух огней 100
Цепочка 103
Комиссар 106
Генерал 108

ДЛЯ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Дягилев Владимир Яковлевич

В ГРУДЬ НАВЫЛЕТ

Ответственный редактор И. И. Трофимкин.
Художественный редактор А. В. Карпов.
Технический редактор Л. Б. Куприянова.
Корректоры Л. А. Бочкарева и Н. Н. Жукова.

ИБ 6624

Сдано в набор 30.07.82. Подписано к печати 18.01.83. Формат 70×100¹/₁₆. Бумага офсетная № 1. Шрифт литературный. Печать офсетная. Усл. печ. л. 9,1. Усл. кр.-отт. 19,9. Уч.-изд. л. 9,12. Тираж 100 000 экз. М-37304. Заказ № 393. Цена 50 коп. Ленинградское отделение ордена Трудового Красного Знамени издательства «Детская литература».Ленинград, 191187, наб. Кутузова, 6. Фабрика «Детская книга» № 2 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Ленинград, 193036, 2-я Советская, 7.

Scan, DJVU: Tiger, 2014

4803010102—128
Д————————266—83
М101(03)—83

50 коп.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»